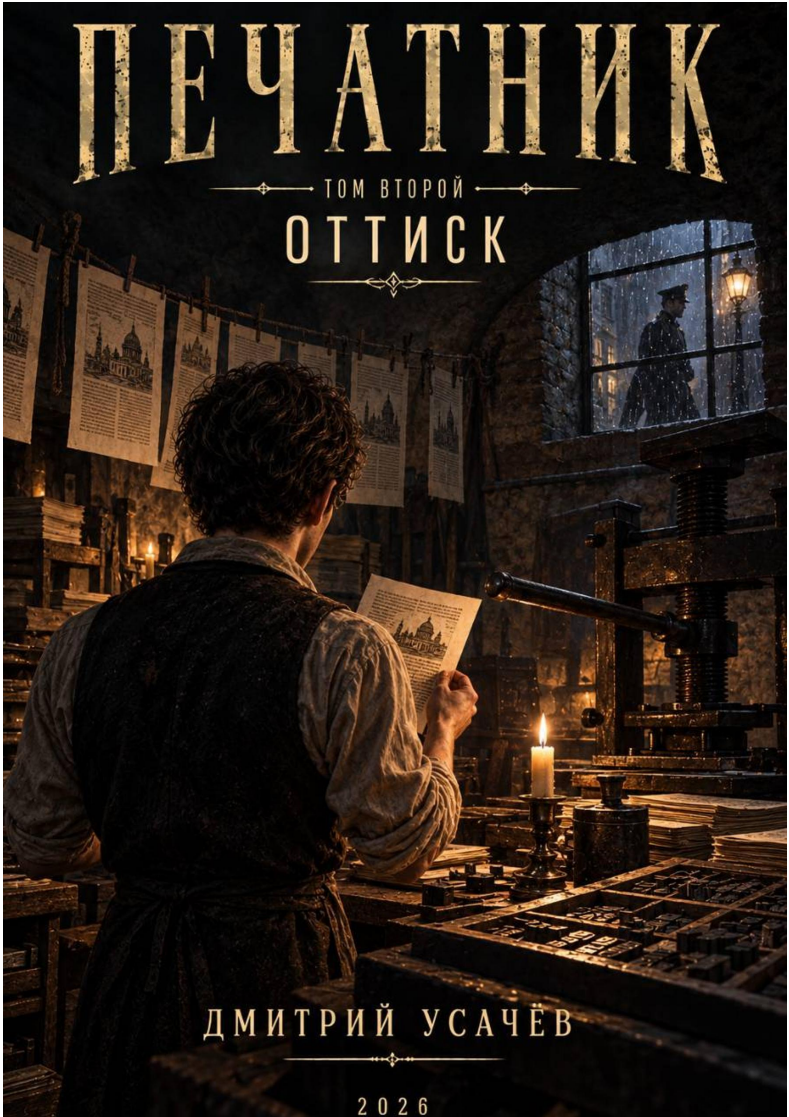
ПЕЧАТНИК

ТОМ ВТОРОЙ

ОТТИСК



ДМИТРИЙ УСАЧЁВ

2026

Дмитрий Усачёв

Печатник. Том 2. Оттиск

Серия «Печатник», книга 2

https://litres.ru/74657717
SelfPub; 2026

Аннотация

Плужин погиб, пытаясь вернуться к последним трём знакам. Илья Никитич прибывает в Кронь с шестью рублями сорока копейками, дедовым шифром и умением писать прошения. В городе людей заранее считают для казённого вывода; Илья хочет доказать, что Жилу можно открыть иначе. Его первые листки помогают тем, кого собираются поставить в наряд, — и сразу требуют тиража больше, чем он способен написать от руки. Чтобы купить станок, ему придётся отдать вещи брата. Чтобы печатать дальше, собрать людей, которые прежде не работали вместе. Но в Крони есть ротмистр Дьяков: он ищет не автора листков, а путь бумаги. Сколько копий можно напечатать, прежде чем одна из них приведёт к тому, кто держит станок?

Содержание

Глава 01. Пристань 5
Глава 02. Почерк 13
Глава 03. Четыре больших 22
Глава 04. Степан 31
Глава 05. Знакомый почерк 39
Глава 06. Перила 48
Глава 07. Плужин 56
Глава 08. Веленевый лист 64
Глава 09. Девять 72
Глава 10. Кому не ходить в наряд 79
Глава 11. Чужая рука 92
Глава 12. Разнарядка 101
Конец ознакомительного фрагмента. 104

Дмитрий Усачёв
Печатник. Том 2. Оттиск

Печатник
Том второй. Оттиск

Глава 01. Пристань

Кронь с воды — это дым и колокольни, и она красивая.

Кронь с берега начинается с того, что у тебя спрашивают бумагу.

Спрашивают не сразу. Сотня приезжих сходит с трапа. Поток несёт тебя вдоль борта, оба свёртка ты держишь двумя руками. Пристанские воруют по ремеслу. Злобы тут нет. Потом толпа выдавливает тебя на камень, и ты стоишь, и вот тут к тебе подходят.

— Пришлый?

Немолодой городовой, усы рыжие от табака. Спокойная скука во взгляде: тысяча одинаковых вопросов. Ни одного интересного ответа.

Я подал ему увольнительное свидетельство и приёмный приговор кронского мещанского общества — тот самый, за одиннадцать рублей с полтиной, который мне собрали четыре двора в Крутом Логу.

Он прочёл. Усы шевелились над бумагой долго. На обшлаге виднелась чужая пуговица: родную заменили меньшей, белёсой. Я успел её рассмотреть.

— Кострин, — сказал он. — Мещанин.

— Так точно.

— А билет?

— Какой билет?

Он посмотрел на меня с интересом — первым за весь разговор.

— Адресный, — сказал он. — Ты в Крони живёшь?

— Собираюсь.

— Тогда адресный. Явиться в адресную экспедицию, заявить, где стал на жительство, взять билет. Три дня тебе.

— А если ещё не стал?

— Тогда, — сказал он терпеливо, как объясняют ребёнку, — сперва стань, а потом явись. Только не позже трёх дней. А то будешь проходящий.

Он вернул мне бумаги и пошёл дальше, и я остался стоять с двумя свёртками в вощёной тряпке, шестью рублями сорока копейками и новым знанием: чтобы жить в этом городе, надо сперва где-то жить.

Приезжие потом часто жаловались мне на Кронь. Холодно, сыро. Никому до тебя дела нет.

Это неправда. Дело до тебя есть, и большое, и записано оно в трёх местах.

Устройство города я понял к вечеру первого дня, и оно оказалось простым, как арифметика на печи в Затонье.

Город не спрашивает, кто ты. Город спрашивает, где ты. Человек в Крони — это не имя и не лицо, а адрес: дом такой-то, часть такая-то, у кого стоишь, чем занимаешься. Есть адрес — ты обыватель, тебя можно найти, и потому тебе

можно всё. Нет адреса — ты проходящий, тебя найти нельзя, и потому тебе нельзя ничего: ни работы по найму с записью, ни угла с записью, ни, что смешнее всего, самой записи.

Круг сходился красиво: чтобы взять билет, нужен угол; чтобы снять угол с запиской, нужен билет.

На набережной я постоял над водой. Серая, чужая, масляные разводы, щепа у стенки. Хорошая задача, думал я. Правильная. Придуманный людьми круг всегда оставляет щель. Без неё город не протянул бы и года.

Щель называлась «ночлежный дом».

Ночлежка Мокеева стояла в третьей линии от воды, за складами, и найти её было легко по запаху.

Запах я потом узнавал по всему городу и научился по нему определять, сколько человек ночует в комнате: сорок пахнут мокрой овчиной, карболкой. После сотни эти запахи исчезают. Остаётся человек: тепло, кисло, словно под шапкой.

У Мокеева ночевало сто с чем-то.

— Пятак, — сказал сиделец в окошке. — С нар. На полу три копейки.

— С нар.

— Свои есть? — он мотнул подбородком на мои свёртки.

— Есть.

— Клади под голову. И не спи крепко.

Он записал меня в книгу. Записал, не спросив бумаги, —

и в этом была вся щель: ночёвка не считается жительством. Хозяин ведёт книгу. Вида требовать не обязан. Ты не живёшь. Ты, с точки зрения города, находишься в пути. В пути можно быть сколько угодно, хоть год, лишь бы каждую ночь платить пятак и каждое утро выходить на улицу с вещами.

Третье место от стены. Я положил свёртки под голову. Полтора часа слушал общее дыхание. У дальней стены кого-то ровно, незлобно ругали по имени.

Считал я вот что.

Шесть рублей сорок копеек. Пятак за ночь — рубль пятьдесят в месяц. Есть — три копейки на харчи в день, если щи без мяса и хлеб, это девяносто копеек. Всего два рубля сорок в месяц, если не покупать ничего, не чинить сапоги и не заболеть.

Два месяца и двадцать дней.

Потом я вспомнил, что за два месяца и двадцать дней мне надо: найти заработок, угол, получить билет. На четырёх больших и полутора десятках малых заводов отыскать старика с крючком на чертеже. Разобрать с ним двенадцать знаков. Испытать способ: людей пока нет. Напечатать результат: ни станка, ни денег на него.

У отчаяния были ясные очертания. Я улыбался темноте. К тому времени я уже знал: отчаяние, которое можно разложить по пунктам, — не отчаяние, а список дел.

Утром меня разбудили в шестом часу — всех разбудили

сразу, окриком, и это оказалось не грубостью, а порядком: в семь дом мыли.

Я вышел на улицу с вещами, как и положено человеку в пути.

Небо уже побелело, но фонари ещё горели. Шёл мелкий дождь, у складских ворот лежал последний снег, чёрный насквозь. Вода с крыш смывала сажу в канавы. Я стоял и смотрел, как по камню ползёт чёрная пена и застревает в щелях между плитами.

Мимо шли на работу. Шестой час утра, густой поток в одном направлении. Справки о городе дали меньше этого первого взгляда: он не спал. В Затонье в шестом часу спали все, кроме пекарей. Здесь в шестом часу шли тысячи, и они шли туда, откуда дымило.

Я пристроился и пошёл со всеми.

Не потому, что мне было куда. Спешить было некуда. Первое кронское утро я шёл с толпой, слушал. За час добыл три вещи, не вошедшие ни в одну справку. Разумнее занятия тогда не нашлось бы.

Первая: у ворот стоят и не пускают. Я думал, завод — это место, куда идут работать. Оказалось, завод — это место, куда пускают по номеру, и номер выдаётся не человеку, а на человека, и получить его с улицы нельзя.

Вторая: между собой они говорили не про хозяев и не про жалованье. Они говорили про списки.

— В артельную подали?

— Подали.

— И что?

— А ничего. Сказали, после Рождества.

Третья, и она мне стоила потом дороже всего: слово «вывод» здесь не употребляли.

Здесь говорили «наряд».

К полудню я сел над трёхкопеечными щами. Один капустный лист плавал в горячей воде. Допил — отпустило спину. Это ощущение помню до сих пор.

К вечеру я сделал первое дело.

Я купил бумаги.

Не потому, что мне было чем писать и о чём. У меня было чем: почерк уцелел. Его у меня здесь не отняли. В Затонье, Ольхове, Крутом Логу он стоил денег. Здесь, оказалось, тоже.

Я купил десть две простой писчей за шесть копеек и один лист хорошей веленевой — на пробу, за семь копеек, дороже, чем всё остальное вместе.

Приказчик «мелочной по канцелярской части» взглянул на лист. Потом на мой армяк. Так здесь называли писчебумажные лавки.

— Прошение будешь писать?

— Буду.

— Кому?

Я не знал ещё, кому. Шесть рублей сорок, больше ниче-

го. На первом же дне надо было отдать семь копеек за вещь лучше себя. Прошение тут ни при чём. Иначе он начинает считать себя по цене нар.

— Пока не решил, — сказал я.

— Тогда бери простой, — сказал он. — А хороший придёшь возьмёшь, когда решишь. Он не портится.

Веленевый лист я всё-таки взял.

Веленевый лист я держал в свёртке, между дедовым трактатом и своими тридцатью одним. К концу июня он слегка пожелтел по краю, там, где касался вощёной тряпки.

Вечером второго дня я вернулся к Мокееву, отдал пятак и лёг на те же нары, третьим от стены.

Сосед справа — плотник из-под Вальбурга, ходивший на заработки одиннадцатый год, — спросил меня, надолго ли я в город.

— Не знаю, — сказал я.

— Правильно, — сказал он одобрительно. — Кто знает, тот и уезжает.

Он повернулся к стене и почти сразу заснул, а я лежал и в третий раз за два дня пересчитывал: шесть рублей четырнадцать копеек. Я занёс отдельно ночлег, щи, простую бумагу и тот дорогой лист. В первый же день к двум рублям сорока в месяц прибавились расходы, которых в моём расчёте не было.

Я попытался снова вычислить, на сколько дней меня хватит, и перестал: утром надо было искать заработок.

Через два месяца я уже жил на то, что зарабатывал.

К тому сроку у меня нашлись адрес и заработок. Наборщик без места стал знакомым. Имя старика я уже узнал.

Глава 02. Почерк

Работу я нашёл на четвёртый день, и нашёл её тем же способом, каким в семнадцать лет нашёл первую: пошёл туда, где пишут.

В Затонье это была контора стряпчего Пахомова. Здесь — Сенной переулок, где в четырёх домах подряд сидели ходатаи по чужим делам.

Их вывески я разглядывал полдня и выучил наизусть, потому что вывеска ходатая — это уже документ. «Хождение по делам гражданским и казённым». «Прошения, жалобы, апелляционные отзывы». «Сношение с присутственными местами». Одна была великолепная: «Скорое окончание давних дел».

Я выбрал не её. Я выбрал самую скучную — «С. Г. Мятлевъ. Дѣла наслѣдственныя и сословныя», — по одному соображению: там на окне лежала стопка бумаги, а не образцы, и стопка была разобрана по видам.

Человек, у которого бумага разобрана по видам, работает.

Сила Гаврилович Мятлев был толст, лыс, в вязаной фуфайке под сюртуком и в очках, которые он снимал, когда хотел посмотреть на человека внимательно, — от близорукости наоборот.

Он снял очки и посмотрел на меня.

— Чего тебе?

— Переписывать.

— Не нужно.

— Я быстро.

— Все быстро, — сказал он. — Иди.

Я не пошёл. Не спросив, я взял перо. На наглость и был расчёт. Придвинул бумажный обрезок, успел написать прежде возражения: «Въ Кронскую Казенную Палату, Отдѣленія втораго, столоначальнику».

Написал я это тем письмом, каким пишут заголовки в присутственных местах: на прописных нажим. Соединения волосяные. Наклон вправо не больше двадцати градусов, ровно.

Руку мне поставил отец Ильи. Эту манеру заголовков я добрал сам: разбирал у Пахомова чужие бумаги, а потом годами писал прошения, которые удовлетворяли реже, чем отказывали.

Мятлев надел очки. Потом снял.

— Кто ставил руку?

— Сам.

— Врёшь, — сказал он без интереса. — Ну и ладно. Три копейки с листа, лист — двадцать четыре строки, строка — не меньше сорока знаков. Меньше сорока — не лист. Ошибка — переписываешь за свой счёт. Клякса — тоже. Приходишь к семи, уходишь, когда кончишь.

— Сколько листов в день?

— Сколько сможешь.

— А сколько может человек?

Третий взгляд на меня, третий раз очки долой. Редко ему задавали такое.

— Хороший — двенадцать, — сказал он. — Ты будешь делать восемь и врать, что четырнадцать.

В первый день я сделал девять.

Во второй — одиннадцать. Под конец недели я делал четырнадцать. Не врал. Впервые в жизни превзошёл среднее простым старанием.

Тридцать шесть, сорок два копейки в день. Против двух с половиной копеек в час на выводе в Крутом Логу — состояние.

Про руку скажу так.

Три часа — немеет плечо. Кисть ещё жива. Плечо держишь навесу, щадя локоть. К пятому начинает дёргаться веко, и это не от глаз, а от шеи. К семи «н» сливается с «и». Выведешь у «и» лишний горб — лист испорчен.

А глаза мои садились ровно и без спешки, как садится вечер: сначала я перестал читать при одной свече, потом стал придвигать лист. Когда свет убавлялся, нос почти касался бумаги.

К исходу зимы мелкий текст пришлось придвигать к глазам. Год спустя на той стороне улицы я узнавал людей лишь

по голосу.

Я это заметил, записал и не сделал ничего. У меня в смете не было строки на глаза.

Переписывал я прошения.

Первые дни я читал то, что переписываю, — от жадности, как читают чужие письма. Потом перестал, потому что понял: они все одинаковые.

Не по делу. По устройству.

Вдова коллежского регистратора просит о пособии. Мещанин Кобылкин просит о переводе его сына в другой цех. Крестьянка Дарья Фомина, вдова, просит о выдаче ей сына из воспитательного. Отставной унтер просит о нашивке. Уберите «всепокорнейше» и «осмеливаюсь утруждать». От всех просьб останется одно:

У меня есть право, но нет бумаги, которая это право показывает.

И Мятлев брал с них по три рубля, и восемь раз из десяти дело кончалось ничем, и он это знал.

Я спросил его об этом на второй неделе, вечером, когда мы остались вдвоём и он считал выручку.

— Сила Гаврилович.

— Ну.

— Из десяти прошений сколько удовлетворяют?

Он не поднял головы.

— Два.

— И они всё равно идут.

— Идут.

— Зачем?

Тогда он поднял голову и снял очки.

— Кострин, — сказал он. — Ты когда-нибудь сидел без всякого дела, зная, что тебе конец?

— Сидел.

Он пригляделся ко мне. Неглупый был человек; лицо моё, видимо, ему не понравилось. Допытываться не стал.

— Ну вот. Три рубля — это не за то, что удовлетворят. Это за то, чтобы полгода было чего ждать.

Теперь про инструмент.

В Ольхове, после спора о студенческом прошении, я был юридически прав и вылетел из университета. Закон мёртв как оружие — записал я честно. Оживлять его с тех пор не пытался.

Так вот: он и был мёртв — как оружие.

Ремеслом закон кормил меня первые кронские месяцы. Прокормил бы и дальше. Унижения в этом не нашлось. Нашлась страннейшая удача. Четыре месяца, десять часов в день. За деньги я читал чужие просьбы. Так в Империи просят.

Я узнал, в каком порядке идут части прошения и почему в этом, а не в другом. Узнал, что «имею честь» и «осмеливаюсь» — не вежливость, а сорт: по первым трём словам

столоначальник понимает, из какого ты сословия, и кладёт бумагу в одну из двух стоп ещё до того, как прочтёт суть. Опоздал с жалобой — правильная форма не спасёт. Успел, но формы не выдержал — вернут. Вот почему ходатаи считают дни. Доводы потом.

И узнал главное, за что, собственно, и заплатил своими глазами.

В казённой бумаге есть места, куда никто не смотрит.

Не «мало смотрит» — не смотрит вовсе. Оборот последнего листа. Поле шире вершка. Строка после подписи. Столоначальник читает не бумагу, а четыре вещи в бумаге: кто, о чём, по какой статье, приложены ли. Всё прочее для него — фон, как для тебя обои.

С углом вышло проще, чем я боялся, и опять через Мятлева.

На третьей неделе он спросил, где я ночую. Я сказал.

— У Мокеева?

— У Мокеева.

— Крадут?

— Пока нет.

— Украдут, — сказал он с уверенностью. — Ты вещи в узле носишь, тебя всякий видит. Иди к Кулаковой.

Я, помню, вздрогнул. У нас в Затонье угол снимали у Кулаковой, и мать до сих пор носила ей по праздникам пирог.

Это была другая Кулакова. Таких Кулаковых я впослед-

ствии находил в каждом городе Империи. По нескольку вдов, у каждой угол с занавеской. И кот.

Кронская Кулакова, Марфа Егоровна, вдова смотрителя мостов, сдавала в Песчаной части, во дворе, в первом этаже, полторы комнаты, разгороженные ситцем в рубчик.

Занавеска в рубчик была и у портного Вейса в Ольхове.

Я задержался в дверях. Одни и те же комнаты, только города меняются. В двадцать три узнавать занавески — слишком много прожить для этого возраста.

— Два рубля, — сказала Марфа Егоровна. — С самоваром. Дрова свои.

— Записку дадите?

— Какую записку?

— Что я у вас стою. Для адресного билета.

Она посмотрела на меня без всякой приветливости.

— Дам, — сказала она. — Только ты сперва билет возьми, а потом я запишу. У меня дом чистый.

Так что круг я всё-таки разомкнул не умом, а тем, что вызвал доверие у толстого ходатая.

Мятлев удостоверил моё занятие у него по письменной части. Мещанин Илья Кострин, с такого-то числа. Удостоверение обменял у Марфы Егоровны на записку. Её понёс в адресную экспедицию.

Это было в пятницу, в конце мая, и я шёл туда пешком через весь город, потому что четыре копейки на конку тра-

тить не хотел, и всю дорогу считал.

Считал я так.

Два рубля угол, полтора — харчи, полтина — свечи и дрова. Четыре рубля в месяц. Заработок — рублей десять, если по четырнадцать листов. Остаётся шесть.

Станок ручной, подержанный, самый дешёвый, о каком я успел справиться, — двести двадцать.

Шрифт — от восьмидесяти за пуд, а пуда мало.

Три года.

За три года я ослепну. Сроком это не назовёшь — приговор. Ошибка в расчёте была. По дороге я искал её уже в устройстве, не в цифрах.

В адресной экспедиции меня приняли, посмотрели бумаги, велели ждать.

Я прождал два часа на скамье, вместе с чухонцем-извозчиком и двумя монашками, и когда меня вызвали к окошку, чиновник — молодой, с плохо выбритой шеей — сказал, не глядя:

— По вам справка не пришла.

— Какая справка?

— С прежнего места жительства. Крутой Лог, Ольховской губернии. Запрошена, не пришла. Придёт — выдадим.

— Когда придёт?

— Как отправят, так и придёт.

Я сказал:

— Она отправлена. Я сам стоял, когда её вписывали в исходящий.

Он поднял глаза — впервые за разговор.

— Значит, — сказал он, — не отправлена.

И только тут, на скамье, натягивая мокрые рукавицы, я вспомнил, кто в Крутом Логу ведёт исходящую книгу.

Глава 03. Четыре больших

Про заводы у меня было записано вот что.

«Кронь. Больших четыре: Обуховский литейный (казённый), Стеклянный, Путиловское товарищество, Невская мануфактура механическая. Малых от четырнадцати до девятнадцати, счёт разный, потому что часть числится мастерскими. При всех — литейное дело. Литейщики метят».

Из восьми строк семь я записал ещё в Крутом Логу. Мельник, бондарь, проезжий шорник — вот мои знатоки заводов. Сам я ни одного не видел.

На проверку этих записей ушло три недели. Уцелела одна строка.

Литейщики метят.

К воротам Обуховского я пришёл в понедельник, в шестом часу утра, вместе с потоком.

Поток дошёл до ворот и там сделался узким и медленным. На ходу доставали из-за пазухи плоские номерные жестянки, показывали у будки. Будто крестились. Двое у будки смотрели. Смотрели они не на лица.

Я подошёл вместе со всеми и был выдавлен вбок, как щепка на повороте реки, без всякого усилия с их стороны.

— Тебе куда?

— Наниматься.

— Найма нет.

— А когда будет?

— Как будет, объявят.

До восьми я простоял в стороне от ворот. Считал проходивших по сотням, делал отметки карандашом на манжете. За два часа — полторы тысячи. Может, две.

Ни один не остановился. Ни один не сказал ничего интереснее «шевелись». В восемь пошёл гудок, ворота притворили, и улица опустела так, будто её вымыли.

Я стоял перед закрытыми воротами казённого завода, за которыми в эту минуту находились, по моему расчёту, человек шестьсот стариков нужного мне возраста, и не мог придумать ни единого законного способа поговорить хотя бы с одним.

Способ незаконный был, и я его знал: перелезть. Ему было тридцать лет от роду в моей прошлой жизни и он назывался «идти в рабочие».

Только для этого требовалось быть моложе, здоровее и сильнее, чем я, и уметь то, чего я не умел.

Три недели я обходил ворота.

Стеклянный: та же будка, те же жестянки, найма нет.

Путиловское товарищество: нанимают по записи через артельного старосту. Старост четверо. За место просят три рубля, но и с деньгами нужен человек, который за тебя по-

просит.

Невская механическая: наняли бы, но требуют «пачпорт с прописью ремесла». В моём увольнительном свидетельстве в графе занятий стояло: «письменных дел».

— Это по конторе, — сказал мне в Невской человек в жилете. — Конторские не нужны.

— Я и не по конторе.

— А написано по конторе.

Тут я, помню, разозлился первый раз за всю Кронь и сказал глупость:

— Так я же вот стою. Вы меня видите. Написано одно, стою другое.

Он посмотрел на меня с искренним недоумением.

— А я тебя куда запишу? — сказал он. — Мне тебя записать надо.

Он был прав. Семидесяти студентам в Ольхове я доказывал то же самое. На этом и вылетел. Тут оставалось помолчать.

Из малых заведений я обошёл одиннадцать.

Там было проще и там же я узнал первое из настоящего.

В колокололитейной у Ямского моста меня пустили просто так. Вернее, пускать было некуда: открытый двор, навес, трое рабочих. Мастер, человек лет пятидесяти, выслушал меня и спросил:

— Ты чего ищешь-то? Работы или человека?

Я, дурак, ответил честно:

— Человека. Старого. Который на чертеже метит по-своему.

Он вытер руки о фартук.

— Помер, — сказал он.

— Кто?

— А кого ты ищешь, тот и помер, — сказал он спокойно. — Ты походи, походи. Тебе всякий это скажет.

Я это записал в тот же вечер, ещё не понимая, что это самая точная фраза, какую я услышал в первый кронский год.

Теперь про наряд.

Я всю дорогу от парохода ждал, что увижу здесь то же, что в Затонье: навес, лавку, приказчика с румяным лицом, двенадцать человек на одной шине и час смены.

В Крони этого нет.

В Крони Жила не открывается под навесом на площади. В Крони три старые Жилы. Город вырос вокруг них, а сами они забраны в кирпич. Это здания. Длинные глухие двухэтажные здания. Нижние этажи без окон. Труб немного: сама Жила не дымит; трубы там для другого.

К зданию подводят не двенадцать человек. К зданию подводят двести.

В среду у Смоленского я впервые увидел Малую Жилу. Стоял разинув рот. Деревенский и есть.

Их вели строем, по четыре, от угла, и вели без всякого

конвоя — просто шли, как ходят на службу. Мужики, бабы, подростки. По жестянкам здесь не пускали. У ворот минут двадцать читали список, выкликали фамилии. Потом ворота закрыли.

Я обошёл здание кругом и нашёл место, откуда видно двор — с поленницы у соседнего дровяного склада, куда я потом лазил ещё шесть раз и однажды был бит сторожем.

Двор был пустой, длинный, вымощенный. Вдоль него шли не лавки, а перила. Просто перила в два ряда, железные, на высоте пояса, как в манеже.

Двести человек стояли вдоль этих перил и держались за них.

И всё.

Никакого приказчика. Никакого поводка. Из низкого строения в торце вышел человек в форменной шинели. Не полушубок — шинель. Прошёл вдоль ряда, никого не тронул, вернулся внутрь.

Загудело.

Это длилось четыре часа.

Я сверялся со своими жестяными часами. Крышка на них не защёлкивалась, зато ходили верно. В листке записано: начало без четверти десять, конец без четверти два.

В Затонье смена была час.

Тут — четыре часа, двести человек, и когда открыли ворота, они вышли сами. Своими ногами. Их не выносили и не

вели под руки. Люди вышли на улицу и разошлись. Я слез с поленницы, выбрал мужика в синей рубахе. Четыре квартала за ним прошёл. Он не присел, даже не остановился.

Он дошёл до угла, там его ждала баба с ребёнком, и он взял ребёнка на руки.

Тогда я догнал его и спросил — прямо, потому что ничего другого не придумал:

— Дядя, как оно?

Он посмотрел на меня поверх ребёнкиной шапки, без злобы.

— Да никак, — сказал он. — Стоишь и стоишь.

Ещё десять дней я слушал разговоры в кабаках. Ушло восемьдесят копеек: ставил собеседникам по шкалику. К середине июня я знал кронский наряд лучше многих, кто в нём стоял.

Оно устроено вот как.

В деревне больше двенадцати не наберёшь — столько и сажают на шину. Через час их выпивает до дна. Старик Кондратий умирает на лавке. Привыкли, не удивляются.

В городе людей много. Поэтому берут двести — и с каждого берут мало. Так мало, что человек этого почти не чувствует: выходит и идёт домой, и вечером ест, и наутро встаёт на работу. Он теряет не полдня, как я в Крутом Логу. По моим листкам выходил час с четвертью в неделю на человека. Я проверял расчёт долго. Не памяти. Просто себя.

Час с четвертью — это ничто.

Это не увечье, не изнурение, не жалоба. Это даже не заметно: человек в конце недели чуть более устал, чем следовало, и объясняет это погодой, работой, водкой, женой, — чем угодно, только не тем, что четыре часа простоял у перил.

С поленницы у дровяного склада я увидел всё устройство. Второй раз в жизни. Помню этот холод; мороза тогда не было.

Двести на четыре часа — это восемьсот человекочасов.

Двенадцать на час — двенадцать.

В листках, привезённых после пустоши, я рассчитывал на семьдесят семь человек и четверть часа. Девятнадцать с четвертью человекочаса.

Это были часы присутствия, не мера вынутой силы: четыре часа городского наряда и четверть часа открытия нельзя было приравнять по одному гулу. Город ставил к железу сотни людей. Мне же предстояло расставить своих семьдесят семь. Как обойтись без новой пустоши, я пока не знал.

Я слез с поленницы и пошёл домой пешком, через полгорода, и не помню дороги.

Помню только, что остановился на мосту: выходило, что они не воруют.

Я всю дорогу от Затонья до Крони держал в голове простую и удобную картину: наверху сидят те, кто знает, и доят Пустых, зная, сколько на самом деле надо. Это картина сер-

дитая, и с ней легко жить, и она даёт кому предъявить счёт.

Теперь мне казалось, что я ошибся.

Двести у перил больше походили на заведённый порядок, чем на точный расчёт: брали с запасом, потому что люди даровые, потому что так делали при отце и при деде. Я не видел, что заставило бы их искать меньшее число.

Я стоял на мосту, смотрел на чёрную воду у водокачки и думал: значит, у меня отняли даже врага.

За этим выводом я и приехал. Теперь он у меня был. Только кому его предъявишь? Напечатать бы — нужен станок. А в кармане четыре рубля двадцать.

В тот же вечер я переписал у Мятлева одиннадцать листов, лёг за занавеской и составил новый список — не задач, а мест.

Он вышел короткий.

На завод не попасть: жестянка, список, староста, три рубля. В наряде стариков нет: наряд — по частям города, а заводские в наряд не ходят вовсе, у завода своя разнарядка, внутренняя, и вот это была новость, за которую я отдал бы неделю раньше. Значит, старика надо искать не там, где он работает. Значит — там, где он уже не работает.

Отставной литейщик не сидит за воротами. Он сидит дома, ходит в свою церковь, получает или не получает вспомоществование из заводской кассы, хоронит своих и ждёт, когда похоронят его.

Я записал внизу листка, коротко, для себя:
Искать не у ворот. Искать у кассы и у паперти.
И приписал:
У них всех неполучённые деньги.

Глава 04. Степан

В подвал Гущиной вели семь ступеней. Кухмистерская находилась в Песчаной части.

Я нашёл её на второй неделе. Всё первое лето обедал там: три копейки щи, пять — ещё каша, семь — добавят варёного лёгкого. У плиты тепло. В остальное время сиди сколько хочешь. За обедом надо освободить место.

Пахло там одинаково всегда: горелым луком, мокрой шерстью и немного керосином. У Пеговой в Ольхове пахло точно так же, и я до сих пор думаю, что это единый запах, разлитый по всей империи в подвальных заведениях с двумя окнами под потолком.

Я поймал себя на этой мысли в первый же вечер и записал у себя: «Опять то же самое. Я четвёртый год ем в одном и том же подвале, только он переезжает».

Всё-таки в двадцать три года ты ещё немного любуешься собой, даже когда голоден.

Степана я заметил из-за рук.

Он сидел через стол, ел кашу и держал ложку тремя пальцами, высоко, у самого конца черенка, — так ложку не держит никто. Так держат кисть.

И ел он медленно. Не потому, что смаковал: он ел медлен-

но и ровно, как человек, который знает, что эта каша сегодня последняя, и растягивает не удовольствие, а сытость.

Руки у него дрожали.

Я смотрел на эту дрожь и делал то, что делаю всегда, — считал. Дрожь была не пьяная: пьяная крупнее и с провалами. Так трясёт от голода. Мелко, ровно. Одиннадцать затонских дней до Пахомова научили меня этому. Тогда мысль сужалась до хлеба.

Ему было лет пятьдесят пять. Борода седая, аккуратно подстриженная, и вот это меня и зацепило: человек не ел третий день и подстригал бороду.

— Простите, — сказал я. — Вы часом не по печатному делу?

Он поднял глаза. Глаза были светлые и совершенно спокойные.

— По печатному, — сказал он. — А вам зачем?

— Мне интересно.

— Интересно, — повторил он и вернулся к каше.

Я тогда сделал вещь, которой потом не одобрял и не осуждал: подозвал мальчика и заказал два раза щи с кашей и лёгким. Четырнадцать копеек, при том что у меня в тот день оставалось от жалованья два рубля и я считал каждую.

Мальчик принёс. Степан посмотрел на миску, потом на меня.

— Я не возьму, — сказал он.

— Возьмёте.

— Не возьму, — повторил он. — Я не побираюсь.

— Я не подаю, — сказал я. — Я плачу за разговор. Мне нужен человек, который знает набор. Я вас нанимаю на полчаса, цена — четырнадцать копеек, и это дёшево, потому что вы наверняка стоите дороже.

Он молчал секунды три.

Потом придвинул миску и сказал:

— Тогда спрашивайте по делу, а то нечестно выйдет.

Звали его Степан Ильич Мокрицын, и был он наборщиком двадцать шесть лет, а до того — иконописцем.

На иконописи разговор закрылся. Одна его фраза, как запертая дверь. Больше я об этом не спросил:

— Ушёл, когда понял, что пишу не для Бога, а для подрядчика.

А набор он любил.

Он говорил о наборе так, как у нас в университете не говорили ни об одной науке. Он объяснял мне — за четырнадцать копеек, честно, как условились, — из чего складывается страница: литеры в верстатке смотрят на тебя вверх ногами. Словам — шпации, строкам — шпоны. Шпагатом обвязывают набор: «связать полосу». Развязал нечаянно — «рассыпал». Для наборщика нет беды хуже рассыпанной полосы.

— Хуже пожара, — сказал он. — Пожар — воля Божья, а рассыпал ты сам.

Я слушал и в первый раз за всю Кронь чувствовал не рас-

чёт, а зависть.

Этот человек знал ремесло целиком. Руками знал, мозолями. Моих справочных представлений о Жилах рядом не поставить. Мне за всю прошлую жизнь ни одна вещь так не давалась. Я был историк, юрист, и обе профессии состоят в том, чтобы рассуждать о чужой работе.

— А сколько человек надо, чтобы печатать? — спросил я.

— Смотря что.

— Листок. В одну восьмую. С одной стороны.

Я встретил его внимательный взгляд. Оба поняли неосторожность вопроса. Поздно уже.

— Троих, — сказал он ровно. — Наборщик, тередорщик и батырщик — это который краску набивает. Можно вдвоём, если наборщик потом сам на тередоре. Одному нельзя.

— Почему?

— Потому что руки две, а надо три.

Полчаса вышли, и я честно замолчал.

Он доел, аккуратно отёр миску хлебом и сказал:

— Ну спрашивайте дальше. Я теперь не за деньги.

И тогда я спросил, почему он не работает.

— Гуляевскую закрыли, — сказал он. — В сентябре.

— За что?

— За книжку, — сказал он и усмехнулся углом рта. — Книжка была про переселение в Сибирь. Дозволенная, с цензурным билетом. Так в ней на девяносто шестой странице

оказалось, что на казённых землях земля хуже, чем обещано. Ну и всё.

— Что «всё»?

— Издание задержано, тираж арестован, заведение закрыто впредь до особого распоряжения. Хозяин под следствием. Машины опечатаны. Шрифт опечатан. Нас девять человек на улицу, и в билете у каждого отметка, откуда уволен.

Он сказал это без злобы, тем же ровным голосом, каким объяснял про шпации.

— И в другую типографию не берут?

— В Крони сорок одна типография, — сказал Степан. — Я обошёл тридцать девять. В двух не был, потому что там своих девать некуда. Наборщик я хороший. Везде рады, пока билет не попросят. В билете «Гуляевъ». После билета так же любезно провожают.

Следующий вопрос я задал из любопытства. Смету он перевернул всю. Обычная моя жадность: всю жизнь спрашивал лишнее.

— А машины куда денутся?

Он пожал плечами.

— Продадут.

— Как продадут? Они же опечатаны.

— Опечатаны, пока следствие. — Он говорил лениво, как о вещи всем известной. — Кончится следствие, хозяину присудят штраф, а платить нечем, потому что заведение стоит и

долги. Тогда описывают и продают с торгов. По частям продают — оптом никто не берёт, дорого.

— По частям?

— Ну да. Машину — в одни руки, кассы — в другие, шрифт на вес — в третьи. Шрифт всегда на вес идёт, в переплавку, потому что старый.

Я сидел с ложкой в руке и, помню, боялся пошевелиться, чтобы он не заметил моего лица.

Двести двадцать рублей за станок — это была цена станка в лавке, у машинного торговца, с доставкой и наладкой.

А с торгов, по описи, по частям, за долги, зимой, когда покупателей нет, ломаный ручной пресс без валов идёт — я узнал через месяц точно — за двадцать восемь рублей.

Плюс он был мне не нужен целиком. Мне нужны были плита, рама и винт.

Я ничего этого тогда, конечно, не сказал.

Я сказал:

— Степан Ильич, а вы дальше как?

Он подумал.

— К брату поеду, — сказал он. — В Тверь. Там при монастыре подновляют, может, возьмут писать. Рука-то помнит.

— Когда?

— Как на билет соберу.

Щи, луковый запах того лета помню хуже этой минуты. Деловой спокойный голос во мне сказал: не надо ему в Тверь.

Не «жалко человека». Не «хороший старик». А именно так: не надо. Он мне нужен здесь.

— Брат вас ждёт? — спросил я.

— Писал зимой. Вряд ли там всё это время держат место.

Я хотел сказать, что здесь место есть. Не сказал: ни станка, ни денег на Степанову плату у меня ещё не было.

Мы вышли вместе, и на улице он спросил — уже в дверях, надевая шапку:

— А вы, молодой человек, что собираетесь печатать?

Я приготовился соврать. У меня даже было заготовлено: объявления, торговые бланки, кому что.

И не соврал.

Не из благородства. Седая подстриженная борода, дрожащие руки. Шапка в этих руках. За пятьдесят пять лет он навидался юных искателей наборщика с горящими глазами. Моё враньё разобрал бы по пальцам.

— Ещё не знаю, — сказал я. — Знаю только, что дозволения на это не будет.

Он надел шапку.

— Ну, — сказал он, — тогда не спешите нанимать.

— Почему?

— Потому что вы меня сейчас нанимать станете, — сказал Степан. — А я голодный. Голодный на всё согласится, а потом всю жизнь будет думать, что его купили за кашу. Вы придите, когда я поем.

Я пришёл через месяц.

На билет денег за месяц он не добыл. В Тверь не уехал. Последнее успел заложить: три кисти в жестяном пенале, беличьи, которыми он не писал двадцать шесть лет и которые возил за собой из города в город.

Я выкупил их, не сказав ему, и держал у себя в свёртке вместе с трактатом и веленевым листом.

Пенал остался в моём свёртке.

Глава 05. Знакомый почерк

Восемь дней — это, если считать грубо: Мокееву восемь пятаков. На харчи восемь раз лишних три копейки: без угла не сваришь. Два рубля задатка Марфе Егоровне пропали, по праву. Ещё три рубля мне только предстояло отдать.

Итого пять рублей шестьдесят четыре копейки.

Почти половина цены приписки к кронским мещанам. Почти все деньги, привезённые мною из Затонья.

Я потом, много лет спустя, пробовал сосчитать, во что мне обошёлся Тычков за всю жизнь. Сбился на четвёртом годе. Он ни разу — ни разу за двадцать с лишним лет — не сделал мне ничего крупного. Он вообще не умел крупного. Он умел восемь дней.

В понедельник я пошёл в адресную экспедицию во второй раз, и мне сказали то же самое: справка не поступила.

Во вторник я подал заявление с просьбой сделать повторный запрос. Заявление приняли, дали входящий номер. Номер я записал.

В среду Мятлев направил меня в Песчаную часть, к приставской канцелярии. Справки с прежнего места приходят туда. В экспедицию напрямую не идут.

Две комнаты первого этажа. Сургуч, мокрое сукно. Запах

лежалой бумаги я с тех пор узнаю в любом доме.

Я подождал на скамье часа полтора.

Скамья стояла боком к столу писаря, и я, чтобы не сидеть дураком, читал то, что лежало у него с краю, вверх ногами. Я это умею с университета и считаю полезнейшим из своих умений.

Сверху лежало отношение на казённом бланке, с угловым штампом губернского жандармского управления.

Оно было короткое. Управление просило доставить сведения о заведениях Песчаной части, торгующих оловом, сурьмою и свинцом в развес, с показанием, кому и в каком количестве отпускалось за истекший год.

Внизу стояла подпись, и подпись была разборчивая — редкость, за которую я всегда мысленно благодарю.

Ротмистръ Дьяковъ.

Я прочёл, отметил, что жандармское управление зачем-то интересуется оловом, счёл это обыкновенной казённой бестолковщиной и через минуту забыл.

Я не выписал ни номера отношения, ни даты. Бумага лежала сбоку от моей справки, и касалась она, как мне казалось, чужого дела.

Потом вышел писарь и сказал:

— Кострин? По вашему делу — к господину помощнику пристава, вторая дверь.

Я пошёл ко второй двери, постучал, вошёл и увидел Тычкова.

Он сидел за столом, боком к окну, и писал.

Вместо крутологского полушубка с шашкой — тёмный мундир, петлицы. Новый, в плечах велик. Тычков в нём казался мельче.

Он дописал строку, промокнул и поднял глаза.

Лицо у него не изменилось ничем. Ни удивления, ни торжества, ни узнавания. Так смотрят на входящего просителя, любого.

— Слушаю.

— Кострин, — сказал я. — Мещанин. По справке с прежнего места жительства.

— Крутой Лог?

— Крутой Лог.

Он выдвинул ящик, достал папку, развязал тесёмки. Ни суеты, ни лишнего движения. Я смотрел на тесёмки. Загорелись уши. Мне двадцать три, мне шестьдесят три. Четыре года я полагал, что таким меня не проймёшь.

— Есть, — сказал он. — Поступила девятнадцатого.

Девятнадцатого. То есть за десять дней до того, как в экспедиции мне в первый раз сказали, что не поступала.

— Мне сказали, что не поступила.

— В экспедицию не отправлена, — согласился Тычков.

— Почему?

— По неполноте.

Он повернул ко мне лист — так, чтобы я видел, но не мог

взять, — и я узнал почерк. Не его: писарский, крутологский, с завитком на «д». В тот последний день я видел её в исходящем журнале. Перечислялся в Кронь. За меня тогда четыре двора сложились. Всего одиннадцать пятьдесят.

— Вот, — сказал Тычков и провёл ногтем по строке. — «Под гласным надзором состоял с… по…». Число выбытия проставлено. А в графе «поведение во время состояния под надзором» — прочерк.

— Что же в ней надо было проставить?

— Что-нибудь, — сказал Тычков.

Он сказал это совершенно серьёзно.

— Прочерк — это не сведение, — объяснил он терпеливо, тем самым голосом, каким объясняют бестолковому. — Отзыв должен содержать сведение. «Одобрительно» — сведение. «Неодобрительно» — сведение. Дальше с прочерком не пущу. Сведение неполное. Спросят-то с меня.

— И что теперь?

— Запросил разъяснение, — сказал он. — Двадцать первого. Отношение за номером четыреста семьдесят вторым.

Я стоял и делал то единственное, что умею делать хорошо: считал.

Отношение в Крутой Лог — восемь дней в один конец, если почтой и если не залежится в волости. Ответ — восемь обратно. Плюс там писарь, который пишет по средам.

Три недели минимум. Три недели без билета. Без угла.

Мокееву по пятаку за ночь. Свёрткам дома нет — ношу дедов трактат под мышкой. В городе, где воруют ремеслом. Меня предупредили в первый вечер.

И придраться было решительно не к чему.

Он был прав. Он весь, целиком, от первой буквы до последней, был прав. Прочерк в графе — действительно неполнота. Запрос разъяснения — действительно предусмотренный порядок. Он даже запросил быстро: за два дня.

Он не сделал ничего.

Я, помню, ощутил тогда очень отчётливо и почти с уважением: вот оно. В деревне было грубо: поимённая явка, девятилетняя девочка в урядницкой. Про такую помеху я умел рассказать людям. Здесь он мешал мне тем, что соблюдал правила.

Против человека, который нарушает, есть жалоба.

Против человека, который соблюдает, нет ничего.

— Порфирий Игнатьевич, — сказал я. — Вы давно в Кроны?

Он посмотрел на меня.

Полторы секунды знакомого взгляда. Единственные за разговор.

— С апреля, — сказал он. — По прошению.

— Поздравляю с повышением.

— Благодарю, — сказал Тычков.

И вернулся к бумагам.

Я постоял ещё немного — глупо постоял, как стоят, ожидая, что человек всё-таки скажет то, за чем ты пришёл, — и вышел.

Уже в дверях он сказал мне в спину, не поднимая головы, ровным канцелярским голосом:

— Кострин.

— Да?

— В городе с бумагами строже, — сказал он. — Тут вам не деревня.

Никакой угрозы в этом не было. Ни малейшей. Он просто сообщил мне сведение — сведение, а не прочерк, — и был, как всегда, совершенно точен.

Восемь дней я прожил у Мокеева.

Спал на нарах третьим от стены, со свёртками под головой, и не спал крепко, как мне и советовали. На третью ночь сосед-плотник, тот самый, одиннадцатого года заработков, спросил, чего я всё щупаю под головой.

— Бумаги, — сказал я.

— Деньги, что ли?

— Хуже.

Он подумал.

— Тогда зашей, — сказал он. — В подкладку. Чего они у тебя навалом лежат.

Я расспросил плотника, как шить, чтобы угол не топорщился. Он показал на своей куртке: нитка в цвет подкладки,

стежок мелкий. Наутро я купил иглу.

На девятый день я рассказал всё Мятлеву.

Просить я как раз не собирался. Изложить равному, посоветоваться. Глупой гордости в таком намерении хватало.

Мятлев дослушал до слова «прочерк», снял очки и сказал:

— Дурак.

— Кто?

— Ты.

Он взял чистый лист, написал две строки, посыпал песком, стряхнул.

— Иди в экспедицию, — сказал он. — К окошку не становись. Спроси Аркадия Петровича, отдай записку. Скажешь: от Силы Гавриловича. И три рубля возьми.

— За что три рубля?

— За то, что он тебе выдаст билет по временному свидетельству, — сказал Мятлев, — не дожидаясь никаких справок. Право такое есть. Оно всегда было. Только его применяют не всем, а тем, кого попросили.

Я стоял с запиской в руке.

— Сила Гаврилович, — сказал я, — а если по закону?

Он надел очки — это у него было к разговору конец.

— По закону — три недели, — сказал он. — А может, шесть, если твой прочерк там разъяснят с новым прочерком. А может, никогда. Ты в Крони, Кострин. Тут закон есть у всех, а ход — у знакомых.

Билет мне выдали в тот же день, за сорок минут.

Аркадий Петрович оказался немолодой, усталый, с чернильным пятном на манжете; он прочёл записку, кивнул, выписал, шлёпнул печать и три рубля взял не глядя, тем неуловимо чистым движением, каким берут не взятку, а должное.

Под уличным фонарём я развернул билет. Прочёл весь: «предъявитель сего», последняя подпись.

Марфе Егоровне я занёс ещё два рубля вперёд. Вечером лёг на тёплый топчан за рубчатой занавеской. Кот устроился в ногах.

Эту мысль я унёс в сон. Наутро записал: неприятное к утру могло сгладиться. Я боялся потерять его резкость.

От Ольхова до Крони я берёг одну уверенность. Против усмотрения бумага бессильна. Она не работает. Я за это убеждение заплатил университетом.

Сегодня бумага сработала за сорок минут.

Сработала она не потому, что я был прав, — прав я был и восемь дней назад. Она сработала потому, что толстый ходатай в вязаной фуфайке написал две строки человеку, с которым он, по всей видимости, крестил детей.

У бумаги есть людская половина. Без неё мертва. С людьми идёт в ход.

Разъяснение из Крутого Лога, кстати, пришло.

Оно пришло в августе, через два с половиной месяца, и в

графе «поведение во время состояния под надзором» в нём стояло одно слово.

«Одобрительно».

Я узнал об этом случайно, осенью, от того же писаря в части, и, помню, засмеялся вслух посреди улицы, чем напугал разносчика.

Тычков продержал меня восемь дней на нарах ради бумаги, в которой обо мне было написано хорошее.

Я думал: ему нужен был не результат, а срок.

Глава 06. Перила

Повестку принесли через одиннадцать дней после билета, и я даже не удивился.

Так и должно было быть. Адрес из билета попадает в часть. Там списки всех мужчин от шестнадцати до пятидесяти. Изъятия перечислены в статье. Под меня ни одно не подходит.

Я сам, своими руками, за три рубля, внёс себя в кронский наряд.

Я стоял с повесткой у окна и смеялся, и Марфа Егоровна из-за занавески спросила, чего это я.

— Обрадовался, — сказал я.

— Дурень, — сказала она равнодушно. — Наряд как наряд. Мой покойник по двадцать лет ходил.

Я шёл туда не работать. Я шёл туда мерить.

В свёртке — тридцать один лист. Всё крутологское я записал туда: двенадцать человек, час на лавке, тремор на девятой минуте; затем семеро и четверть часа на пустоши, и мой поздний расчёт: *семьдесят семь и четверть часа*.

Это была деревенская арифметика, снятая с деревенской шины.

Городская шина предлагалась мне самой казной. Повест-

ка, часы в кармане. Бесплатная проба. Тогда я счёл бы преступлением отказаться от такой возможности.

Про то, что мерить придётся собой, я подумал. Я даже записал накануне вечером: «Возможно повреждение. Ставлю четверть часа против четырёх, и всё же ставлю».

Малая Жила у Смоленского изнутри оказалась не страшной, а скучной, и это было хуже страшного.

Двор. Мощёный, длинный, шагов полтораста. Два ряда железных перил на высоте пояса, крашенных суриком, местами облупившихся. Навес вдоль стены — от дождя, но не над перилами, а над проходом. Уборная в углу, с надписью «для нарядныхъ».

Нас было — я считал по головам, пока шла перекличка, — двести четыре.

Перекличка заняла двадцать две минуты. Я потом перепроверял: двадцать две — это когда без заминок. Кричат фамилию, ты отвечаешь «здесь», писарь ведёт пальцем.

— Кострин!

— Здесь.

Рядом со мной оказались: слева мужик лет сорока, в жилетке поверх рубахи, судя по рукам — при лошадях; справа мальчишка лет шестнадцати, худой, с прыщами, и он всё оглядывался и облизывал губы.

— Первый раз? — спросил я.

— Первый.

— И я, — сказал я, и это была правда, и в ту минуту я поймал себя на том, что рад соседству: мальчишку будет удобно наблюдать.

Я записал потом и это тоже.

Железо было холодное и ребристое.

Перила отлиты с продольным рубчиком — чтобы рука не скользила, — и рубчик этот к третьему часу отпечатывается на ладонях так, что след держится до вечера. Белёсые мелкие полоски на ладонях выдают долгую службу в наряде. По ним человека узнают в бане.

Из торцевой кирпичной постройки вышел человек в шинели. Прошёл вдоль ряда. Никого не тронул.

Я следил во все глаза. Вот разница с деревней. Понять бы его действия.

Он ничего не делал.

На тыльной стороне левой ладони темнел знак. Старый ожог. Он оставлял руку на виду, без показа и пряток. Он шёл, глядя себе под ноги, дошёл до конца, повернул и ушёл внутрь, и дверь за ним закрылась.

Загудело.

Внутреннее ощущение я уже описал — на крутологской лавке. Второго описания не будет.

Скажу только про разницу, потому что она вся и есть.

В деревне, на двенадцати, это накрывает. Через три мину-

ты ты перестаёшь удерживать число, через девять начинается дрожь, и главное там — не боль, а то, что тебе делается ровно и уютно всё равно.

Здесь, на двухстах, — не накрывает.

Здесь никак.

Стоишь, держишься за холодное железо, и ничего не происходит. Совсем ничего. Гул остаётся ниже слуха. Слышат колени, зубы. Полчаса спустя колени тоже перестают.

Мужик слева на втором часу стал рассказывать мне про сено. Сено дорогое. Привозное, с той стороны. Хозяин взял гниль, половину выбросили. Мужик предупреждал. Кто ж послушал.

Я слушал и следил за собой.

Первый час: ничего. Второй: ничего, только захотелось есть, но я и пришёл голодный. Третий: ноги. Просто ноги, как у всякого, кто три часа стоит.

На четвёртом я поймал.

Двадцать восемь рублей к апрелю: сколько для них переписать листов? Я считал в уме третий раз. Третий ответ был не похож на первые. Я разозлился, начал сначала — и понял, что не помню, с какого числа начал.

Не «забыл». Забывают край: было и ушло. А тут было ровное чистое место, как будто там и не начиналось.

Я посмотрел на часы — крышка не защёлкивалась, и я держал её пальцем.

Час двенадцатый по четвёртому часу.

Я сказал себе вслух, шёпотом, чтобы закрепить: «Час двенадцать. Сорок восьмая минута. Счёт сорвался».

Мужик слева повернул голову.

— Чего?

— Ничего, — сказал я. — Сено.

— А, — сказал он. Пошёл дальше про сено. Сначала ли начал, продолжил ли — мне и сейчас неизвестно. Предыдущего конца я не помнил.

В без четверти два открыли ворота.

Я вышел своими ногами. У угла свернул, дошёл до Гущиной. Семь ступенек, щи с кашей. Потом к Мятлеву. Одиннадцать чистых листов я переписал в тот день. Без брака.

Вечером я сел за занавеской, придвинул свечу и стал записывать.

Записывал я часа полтора и исписал четыре страницы, и первую строчку на первой странице помню наизусть, потому что переписывал её потом в трёх местах:

Меня сегодня обокрали примерно на час с четвертью, и я этого не заметил.

Дальше шли выкладки, и они меня додавили окончательно.

Двести четыре человека, четыре часа: восемьсот шестнадцать человекочасов. Рядом я поставил свой крутологский расчёт: семьдесят семь человек на четверть часа, девятнадцать с четвертью.

Я попробовал разделить одно на другое, получил сорок два и зачеркнул. Это было отношение часов у железа, а не убыли. Сколько времени держит Жилу казённая печать после вывода и сколько даст наш способ, я не знал.

Но другое я уже видел: среди двухсот человек потеря пряталась так хорошо, что я искал её в себе три часа.

И вот тут я, наконец, дошёл до того, ради чего, наверное, и стоял четыре часа у сурикового железа.

Они открывают дороже не по глупости.

Собери семьдесят семь неправильно — и ближним к железу достанется столько, что они это почувствуют. Ближний выйдет и сядет. У него будет дрожать рука. Он не вспомнит полдня. Он будет знать, что с ним сделали, и знать точно, в тот же вечер, и жена его будет знать, и сосед.

В нашем ряду никто не жаловался. Я сам нашёл потерю, только когда сбился со счёта.

Час с четвертью в неделю. Это не увечье. Это даже не усталость: это когда ты не помнишь, с какого числа начал считать, и злишься на себя, что стал рассеян. Это когда человек в сорок лет говорит «память не та» и все кивают.

На такую убыль трудно и пожаловаться: со мной ничего не случилось, я вышел своими ногами и в тот же день переписал одиннадцать листов.

Так расточительность могла защищать их от жалобы.

Я сидел над этими четырьмя страницами и понимал, что

нашёл не оружие, а вторую половину замка. Завтра объявлю на площади об устройстве — и казне разумнее всего меня поблагодарить. Перейти на семьдесят семь.

И тогда казна может оставить семьдесят семь, не разобравшись, как их поставить. Запас исчезнет, а тяжесть останется на ближних.

Экономия ляжет на них.

Я долго сидел.

Потом достал из свёртка дедовы восемьдесят листов, развернул вощёную тряпку, нашёл ту единственную страницу, где по-русски, и прочитал в четвёртый или пятый раз за год единственную фразу, которую в этом трактате умел прочесть.

Убыль ложится на предстоящих, а не на держащего.

Я год носил эту фразу с собой и год думал, что она про несправедливость: что барин держит, а платят стоящие.

Она была не про то.

Она была условием задачи. Дед не жаловался — дед записывал, чем расплачивается устройство: убыль есть всегда, вопрос только, на скольких её разложить и какой ломоть достанется каждому.

И, стало быть, вся его работа — восемьдесят листов, сорок один знак, тридцать четыре года на казённых заводах — была не про то, как открыть Жилу без Права Крови.

Он это, надо думать, знал и так.

Он искал, как открыть её, не разложив убыль на людей.

Я записал внизу четвёртой страницы, и на этом лёг спать:

Число у меня есть, устройства ещё нет. Семьдесят семь у одной шины могут оказаться дешевле для казны и дороже для ближних. Значит, ищу не число. Число у меня есть. Ищу, куда девать убыль. Двенадцать знаков.

Ниже, другими чернилами, я приписал через день:

NB. Гриша и Фёдор — мои решения, не погрешность наблюдения. Я поставил семерых; для следующего расчёта я принял семьдесят семь. Убыль не разошлась по слоям и легла на края первого.

Глава 07. Плужин

Искать я стал у кассы и у паперти, как и записал себе, и на это ушло три недели.

Способ был простой и до отвращения медленный.

При каждом большом заводе есть вспомогательная касса: с каждого заработанного рубля работник отдаёт копейку. За увечье, на погребение платят из кассы. Отставному тоже могут помочь — при удаче и добром расположении правления. Касса ведёт книгу. Книга не тайная: ежегодный отчёт продаётся в конторе. Серая тощая брошюрка, пятнадцать копеек. Зачем покупаю, никто не спрашивал.

В отчёте есть список получающих вспоможение. Фамилия, при каком цехе состоял, сколько лет прослужил, сколько назначено в месяц.

Я купил четыре отчёта, по одному на каждый большой завод, отдал шестьдесят копеек и получил семьсот с лишним фамилий.

Из них я выписал тех, кто числился при литейном или модельном и прослужил больше двадцати пяти лет.

Сорок девять человек.

Адресов в отчёте нет.

Адреса я добирал по-разному: адресный стол — пять ко-

пеек за справку. Приходская книга. Угловой лавочник: за тридцать лет жизни старика квартал его запомнил.

Из сорока девяти я нашёл двадцать два.

Семерых уже не было. Умерли за последние месяцы либо раньше. Число я тоже записал: к началу лета из двадцати двух семеро.

Колокололитейный мастер у Ямского моста был прав: кого ты ищешь, тот и помер.

С пятнадцатью я поговорил.

На первых пятерых я испытал четыре подхода. Все провалились. Дальше оставил один разговор. Я говорил, что собираю сведения о старом заводском деле для одного господина, который пишет книгу, и что за час беседы плачу двугривенный.

Двугривенный работал. Про господина с книгой никто не верил, но никому и не было нужно верить: деньги делают рассказ работой. Старик рад говорить и даром. Но работать почётнее, чем болтать.

Из пятнадцати одиннадцать говорили охотно и не сказали ничего.

Трое сказали, что метки были, а какие — не помнят, потому что метил не сам, а старший.

И один сказал:

— Плужин тебе нужен.

Аким Гордеич Плужин, литейщик, при Обуховском ка-

зённом заводе, сорок один год, вспоможение — четыре рубля в месяц, жил в Александровской слободе, в деревянном доме на две квартиры, с невесткой и двумя внуками.

Дверь открыла невестка — женщина лет тридцати пяти, с мокрыми руками, — и сразу сказала:

— Нет его.

— А когда будет?

— Он дома, — сказала она. — Только он не выйдет.

За её плечом, в глубине, в комнате с одним окном, сидел за столом старик и смотрел на меня.

— Гордеич! — сказала она, не оборачиваясь. — Опять к тебе.

— Слышу, — сказал старик. — Не глухой.

Он был глухой на левое ухо, как я узнал потом, и всякому это сообщал в первые же четверть часа, с вызовом.

Я вошёл и в первые же секунды сделал две ошибки.

Первую — снял шапку и поклонился, как кланяются старшему по возрасту в деревне. Он это увидел и сощурился.

Вторую — сел, не дожидаясь приглашения. Сел я потому, что стоять над сидящим неудобно, и это была правильная мысль в неправильном доме.

— Ты кто? — сказал Плужин.

— Кострин. Илья Никитич. Занимаюсь по письменной части.

— Писарь.

— Вроде того.

— Из части?

— Нет.

— Из газеты?

— Нет.

— От кассы?

— Нет.

Он подумал.

— Тогда чего тебе.

Комната была маленькая, чистая и очень тёплая — топили, не жалея, и это меня удивило при четырёх рублях в месяц. На стене висели часы с гирями. На подоконнике стояли в ряд шесть или семь склянок с чем-то тёмным. Возле печки висел на гвозде старый кожаный фартук, до блеска вытертый. Я взглянул, он перехватил взгляд.

— Аким Гордеич, — сказал я. — Мне сказали, что вы в модельной работали по чертежам.

— И что?

— Мне нужно понять, как метили.

Он молчал.

Я, дурак, продолжал.

Я говорил хорошо. Четыре года я учился склонять людей к согласию. В тот вечер пустил в ход всё лучшее: ремесло уходит. Пройдёт двадцать лет — не вспомнят. Никто не записал целую науку цехового письма. Мне бы успеть к живым.

Я говорил минуты четыре.

Он слушал, положив руки на стол. Руки я запомнил: широкие, с плоскими ногтями, и на левой не хватало верхней фаланги безымянного, и обрубок был старый, обмятый, розовый.

Когда я кончил, он сказал:

— Складно.

— Аким Гордеич…

— Складно, — повторил он. — Ты, малый, вот что. Ты мне сейчас четыре минуты говорил и ни разу не сказал, чего тебе надо.

— Я сказал.

— Ты сказал, чего тебе жалко, — сказал Плужин. — А надо тебе чего?

Три недели поиска, шестьдесят копеек на отчёты. Самолюбие целиком. Самый полезный кронский вечер стоил мне этого. Счёт верен до сих пор.

Потому что я, конечно, сказал правду.

Не всю. Я сказал ровно столько: в старой рукописи сорок один цеховой знак. Двадцать девять поддались. Двенадцать оставляют её мёртвой.

— Покажи, — сказал Плужин.

И вот тут я сделал третью ошибку и худшую.

Я принёс с собой не трактат — трактат я не носил, — а свои листы: копию, переписанную мной от руки в Крутом Логу, все восемьдесят страниц дедова текста, аккуратным

писарским почерком, с волосяными на соединениях.

Я развернул и положил перед ним.

Он взял, поднёс к окну — было темно, он поднёс к лампе, — посмотрел одну страницу, вторую, третью.

Потом положил на стол и вытер ладонь о штанину, как вытирают, взяв в руки что-то не то.

— Это не то, — сказал он.

— Как не то?

— Это ты переписал.

— Переписал. С точностью до черты.

— С точностью до черты, — сказал он и посмотрел на меня, и я до сих пор помню этот взгляд: не злой, а как на человека, который принёс показать портрет и уверяет, что это и есть его мать. — Малый. Метка — она не буква. Она чем поставлена.

— Я не понимаю.

— Вот и я говорю, — сказал Плужин. — Не понимаешь.

Десятиминутная речь — его единственная длинная. Всё об одном. Я, идиот, ждал настоящего дела.

Свои меры модельщики режут по дереву. Вдоль волокна, поперёк — две разные черты.

У кузнеца керн, горячее железо. От одного удара знак садится. После второго растекается. По расплыву читают меру.

У Плужина в цеху глубину обозначали двойной риской. Вторую вели поверх первой, с отклонением на волос. Вся

разница в волоске.

— На бумаге ты его напишешь? — сказал он.

— Напишу. Я мерил бы под увеличительным.

— А писавший его тебе мерил?

Я молчал.

— То-то, — сказал Плужин.

Я просидел у него до половины одиннадцатого и не получил ни одного знака.

Я предлагал деньги. Он не рассердился — он засмеялся и сказал, что за деньги вон Митрофан с угла и не то расскажет.

Я просил показать хоть один. Он сказал: «Показать нечего, у меня инструмента нет, инструмент казённый».

Я спросил, кто ещё может знать. Он сказал: «Кто знал, тот в земле».

И только один раз, уже когда я одевался в сенях, он спросил сам:

— А ты с чьей рукописи-то?

— С дедовой.

— Дед кто?

— Кострин, Мирон Данилыч. Ставил машины по казённым подрядам.

Он ничего не ответил.

Я стоял в сенях и завязывал башлык и слышал, как он в комнате отодвинул стул и сел обратно.

Потом сказал — не мне, в комнату, тем же ровным голо-

сом, каким сообщал, что не глухой:

— Приходи в субботу.

Уже на улице, отойдя шагов на двести, я остановился под фонарём и стал вспоминать всё подряд, по своей привычке записывать, пока не улеглось.

И вспомнил вещь, на которую посмотрел два раза и оба раза не увидел.

У Плужина в сенях, справа от двери, на полке под рогожей лежали инструменты.

Свои. Не казённые. Штук пятнадцать или двадцать: молотки, кернеры, разметочный циркуль, что-то ещё.

И у каждого на деревянной рукояти были насечки.

Вошёл — видел. Выходил — видел. Насечки на деревянных черенках. Мне нужны были бумаги, и по насечкам глаз скользил, как по обоям.

Я стоял под фонарём минуты три.

Я повернул назад. На полпути вспомнил про одиннадцать часов ночи. Ломиться сейчас, требовать рогожу — за минуту всему положить конец.

Я записал это на манжете, огрызком карандаша, и пошёл домой.

Глава 08. Веленевый лист

В субботу я пришёл без денег и без рукописи.

Два вопроса, чистая бумага. Больше Плужину от меня ничего и не требовалось.

— Аким Гордеич, — сказал я с порога. — Сколько вам платят?

Он сидел на том же месте. Невестка гремела чем-то за перегородкой, и там же возились дети.

— Четыре рубля, — сказал он.

— В месяц?

— В месяц.

— За сорок один год?

— За сорок один год, — сказал Плужин, — платят ноль. Четыре рубля — это касса. Из своих же копеек и платят.

— А от завода?

— От завода — благодарность, — сказал он. — Мне её объявили. В приказе. С прочтением.

Дальше я час его допрашивал, и он отвечал, потому что этот разговор был про него, а не про меня.

Я выяснил следующее.

Он поступил на завод в двенадцать лет мальчиком при формовщике. Значит, до восемнадцати он числился не ра-

бочим, а «при отце», и из сорока одного года работы контора зачла только тридцать пять.

Палец он потерял больше двадцати лет назад. Одиннадцать дней спустя он уже работал. Заявления не подавал: «за палец не платят».

Пенсионная касса появилась за десять лет до его отставки. Казённая. Работник отдавал из жалованья, казна прибавляла. В неё вошли все, кто состоял на службе к первому января. Плужин к первому января состоял.

А в марте того же года его перевели в модельную.

— Перевели куда?

— В модельную.

— С понижением?

— С прибавкой, — сказал он с некоторой гордостью. — Модельщик выше литейщика идёт. Меня по чертежам взяли, потому что я в чертеже понимал.

— А в кассе вас как записали?

Он не понял вопроса.

Я объяснил. Объяснение шло голосом ольховского собрания. Тем самым, о семидесяти студентах и их статье. Свой голос я не мог остановить.

Пенсионная касса была учреждена *при литейном и механическом отделениях*. Так стояло в положении. Модельная числилась при чертёжной, а чертёжная — по конторской части. Переведённые в марте выбыли из состава участников кассы, и вычетов с них не брали.

Десять лет до отставки из его жалованья ничего не отчисляли. Считала контора. Он отсутствия вычета не заметил.

— Аким Гордеич, — сказал я. — Вы не в кассе. Вас из неё вывели при переводе в модельную, не спросив.

Он долго молчал.

Потом сказал:

— Ну.

— Что «ну»?

— Ну и что, — сказал Плужин. — Двадцать два года прошло.

Вот на этом месте я и достал веленевый лист.

Семь копеек за него отдал в первый кронский день. В кармане шесть сорок. Без угла, без работы, без имени — купил по упрямству. Одна заведомо лучшая, чем я сам, вещь при себе.

Он пролежал в свёртке между дедовым трактатом и моими тридцатью одним листом полтора месяца и слегка пожелтел по краю.

Я положил его на стол.

— Что это? — сказал Плужин.

— Бумага.

— Вижу, что бумага. Дорогая.

— Семь копеек.

Он потрогал угол пальцем — тем самым, с обрубленной фалангой, — и посмотрел на меня. И я в первый раз увидел

на его лице не насмешку.

— На такой прошения не пишут, — сказал он. — На такой дипломы пишут.

— Знаю, — сказал я. — Поэтому и напишу.

Писал я его девять дней.

На полторы страницы ушли три вечера чтения у Мятлева. Положение о кассах, устав. Два вечера выписок из конторы. Четыре начатых и разорванных варианта.

Мятлев, надо отдать ему должное, помог. Он выслушал, снял очки и сказал:

— Дело дурацкое, Кострин.

— Почему?

— Потому что верное, — сказал он. — Верные дела самые дурацкие. За верное человек станет биться десять лет. Гнилое бросит через год. Будет жить дальше.

Но выписки он мне дал и указал, чего я не знал: дело кассы ведёт присутствие по фабричным делам. Не заводское правление. Давность по восстановлению не бежит: вычет упустила контора. Проситель не виноват. Службу могли зачесть всю, а деньги выдавали не больше чем за два года.

Вот эту фразу — «не по упущению просителя» — я потом писал в своей жизни, наверное, тысячу раз.

Прошение я принёс ему готовым, и это была лучшая бумага, какую я написал за всю первую половину жизни.

Оно было написано на веленевом листе тем письмом, каким пишут заголовки в присутственных местах. Оно не жаловалось. Сорока одного года службы оно не поминало. Пальца, благодарности в приказе — тоже. Ни «всепокорнейше», ни «осмеливаюсь утруждать».

В нём было четыре пункта.

Первый: положение об учреждении кассы, статья такая-то, состав участников. Второй: приказ по заводу такой-то от такого-то марта о переводе в модельную. Третий: справка конторы, что вычеты с просителя прекращены с апреля того же года. Четвёртый: перевели его по распоряжению заведения. Своего прошения о переводе он не подавал. Нигде в актах исключение из кассы не прописано.

И один вывод: просить о зачёте службы и восстановлении в числе участников с производством причитающегося.

Плужин прочёл его сам, вслух, вполголоса, водя пальцем.

Он читал до конца. По складам, медленно. Признаться в этом не согласился бы.

Потом положил ладонь на лист и сказал:

— Складно.

— Опять складно?

— Нет, — сказал Плужин. — Теперь по делу складно.

И вот тут он встал, ушёл в сени и принёс из-под рогожи молоток.

Не кернер, не циркуль — молоток, обыкновенный слесар-

ный, с деревянной рукоятью, вытертой до жёлтого блеска.

Он положил его на стол рядом с веленевым листом.

— Смотри, — сказал он.

На рукояти, у самой головки, были насечки: три коротких поперёк и одна вдоль, наискось.

Я смотрел на них и молчал, потому что боялся сказать хоть слово.

— Это чей? — сказал он.

— Ваш.

— Это чей молоток, я спрашиваю. Если он с трёх других на верстаке лежит, чей он?

— Ваш.

— Вот, — сказал Плужин. — А это, — он повернул рукоять и показал вдоль, — это как я его правил. Он у меня перекалён был, я его отпускал дважды. Первый раз лет двадцать назад, второй через семь лет. Тут насечка на насечке, вторая от первой на волос отошла. Видишь?

Я наклонился к самому дереву.

Насечек было две. Вторая шла поверх первой и отходила от неё на волос.

— Вижу, — сказал я. — Глубина.

Плужин посмотрел на меня.

— Чего?

— Глубина, — повторил я. — В моей рукописи этот знак стоит там, где сказано про глубину. Двадцать девятый.

Он забрал молоток и подержал его в руке.

— Может, и глубина, — сказал он наконец. — Мы это звали «вдругорядь». Второй раз по тому же. У бондарей, слыхал, называют иначе. Ты сядь.

Я сел.

— Двенадцать, говоришь.

— Двенадцать.

— Девять покажу, — сказал Плужин. — Тут, дома, на своём железе. А три не покажу.

— Почему?

— Потому что их дома нет, — сказал он. — Их на литье кладут. Их надо на горячем видеть, как оно садится. Тебе рассказать — ты запишешь, а запишешь ты враньё.

В четверг мы подали три экземпляра в присутствие по фабричным делам. Я потребовал расписку, получил.

Расписку Плужин носил с собой. Я снял с неё копию: он велел мне следить за сроками.

Дело шло четырнадцать месяцев.

За четырнадцать месяцев его вызывали в присутствие дважды и на завод — четыре раза: для освидетельствования. Для сличения по книге. Для объяснения. И снова для сличения: сначала книгу не нашли.

Он ходил охотно.

Надевал чистую рубаху, клал расписку за пазуху и шёл пешком через весь город. Сорок один год эти ворота были его работой; последние двенадцать лет его пропускали толь-

ко по вызову.

Я узнал даты вызовов, вписал их рядом с исходящими номерами. Про то, с чем он возвращался после этих поездок, я тогда не спрашивал.

В моей тетради дело выглядело исправным: вызов, явка, следующая бумага.

Глава 09. Девять

Девять знаков заняли у меня восемь месяцев.

Своим в Крони я потом пересказывал это кратко и гладко: старый литейщик показал мне цеховые метки, и способ сошёлся.

Так вот, это враньё того же сорта, каким я всю жизнь потчевал сходки.

Девять знаков — это тридцать четыре субботы.

Работали мы так.

Я приходил около четырёх, когда он уже поел. Самовар ставился для невестки, её детей. Я тоже получал чашку. К осени стал отдавать ей полтинник в месяц. Оба называли это платой за чай.

Плужин выкладывал на стол железо.

Первую субботу — молоток и два кернера. Вторую — циркуль и чеканы. Десять суббот понадобилось, чтобы узнать по именам всё из-под рогожи. Вещи я узнавал уже и в лицо.

Он брал предмет, поворачивал к лампе и говорил, например:

— Вот это — «на глаз». Это мы ставили, когда мера не мерена, а прикинута.

И я четверть часа выяснял, что значит «прикинута», и вы-

яснял через приклады: где прикидывали, кто, при каком деле, что бывало, если прикинули не так.

Потом я перерисовывал знак.

Перерисовывал я его сначала карандашом, потом — с третьего месяца — стал делать иначе: клал на насечку тонкую бумагу и тёр грифелем плашмя, как делают оттиск с монеты. Плужин, когда увидел это в первый раз, хмыкнул и сказал, что так снимают с гробовых досок.

Оттиск получался живой. На нём видно было то, чего не передавала никакая моя копия: где начало черты, где конец. Откуда резали — там глубже. Прямая не получается: рука не циркуль.

Я сравнивал этот оттиск с тем же знаком в дедовой рукописи.

И вот тут начиналось всё веселье.

Из двадцати девяти знаков, разобранных Верой Николаевной в Крутом Логу, Плужин подтвердил двадцать семь.

Я не могу передать, чего мне стоило это записать в первый раз. Двадцать семь попаданий из двадцати девяти. За одну зиму. У женщины, не бывавшей на заводе. Казённые сметы — ни живого цехового мастера рядом.

Я потом сосчитал вероятность — из чистого удовольствия, на полях, — и вышло, что такого не бывает.

Два знака он забраковал.

Один — тот, который она сама называла сомнительным.

Тут я даже не удивился.

А второй был двадцать третий, и это был знак меры.

Первоначально я прочёл его как «души». После пустоши вычислил, что на одну такую единицу приходится не один человек, а не менее одиннадцати. Потом Вера прислала выписку из дедовой сметы: шестьсот тридцать пудов полосового, в них пятьдесят четыре знака, за вычетом усушки. На знак приходилось одиннадцать с лишним пудов. Это были разные меры, но обе указывали на мою ошибку: я принял единицу нагрузки за одного человека.

Я ошибся ровно в одиннадцать раз, и знал я об этом после пустоши, и знал, чего это стоило.

Плужин взял оттиск, повернул к лампе и сказал:

— Это вязка.

— Что?

— Вязка, — сказал он. — Полосовое вяжут в вязки, по одиннадцати с лишним пудов. Катили их, ломами брали. Мы вязками считали, а тем же крючком отмечали, сколько такая вязка на себе держит. Тут по соседним меткам глядеть надо.

Он положил оттиск и потянулся за чаем.

— У вас в смете, поди, пуды писаны?

— Пуды.

— Ну так это писарь переводил, — сказал Плужин равнодушно. — Ему в казну пудами надо. А в цеху пудами никто отродясь не говорил.

Я попросил повторить.

— Вязка, — сказал Плужин. — Так у нас зовут.

Я записал слово возле прежней записи. Одиннадцать с лишним пудов, выписанные осенью Верой из сметы, остались теми же. Гриша справа, Фёдор слева — тоже.

Плужин долил себе чаю и спросил, что у меня дальше. Я подал ему следующий оттиск.

Через весь город я шёл, разговаривая вслух. Пьяный на вид. Городовой однажды поинтересовался, всё ли благополучно.

Дома я сел и написал письмо Вере Николаевне.

Оно было на четыре страницы, и в нём было всё: вязка. Плужин, потянувшийся за чаем. Её правота насчёт недели. Моя вина. Ошибку я мог отработать, она была моя. Виноват я в другом: одним вопросом её можно было снять.

Я его не отправил.

Я его даже не запечатал. Письмо оставил между оттисками и трактатом. Раза три за год доставал. Читал, снова прятал. Причина всякий раз новая. Все верные.

К концу февраля у меня было девять новых знаков и две поправки к старым.

Способ стоял так.

Тридцать восемь знаков из сорока одного. Число — семьдесят семь, держать не отпуская. Убыль ложится на пред-

стоящих, а не на держащего.

И три знака, которых не было.

Три знака шли подряд, в одном месте, на шестьдесят третьем листе, и место это в трактате было ключевое: тут дед переставал объяснять. Начинал распоряжаться. По манере я знал его уже как знакомого.

Двадцать девять листов до этого места объясняли, как устроен замок.

Три знака объясняли, куда девать убыль.

Над ними мы бились всю зиму, ещё пока шли последние из девяти.

Я пробовал брать их измором: приносил Плужину все оттиски подряд, раскладывал, заставлял смотреть.

Он смотрел и говорил:

— Похоже на закалку. Или на отпуск. Или на осадку.

— Аким Гордеич, это три разные вещи.

— Три, — соглашался он. — Оттого и говорю.

Ещё восьми старикам из списка я показал оттиски. Двое отозвались: «не наше». Один спросил, откуда снято. Больше мне не отворил.

Я пробовал через книги. В Публичной библиотеке я просидел четырнадцать вечеров и нашёл ровно одно упоминание цехового письма — в описании тульских заводов сорок седьмого года, в сноске, где говорилось, что мастера «употребляют знаки собственного изобретения, кои никем не со-

браны».

Никем не собраны.

Собрать несобранное — этим я всю жизнь и занимался. Лень тут ни при чём. Знание живёт в руках. Руки умирают.

В конце февраля Плужин сказал сам.

Самовар остыл. За перегородкой возились дети. Низкое солнце высветило всю пыль, весь комнатный пух.

— Ты вот что, — сказал он. — Ты не бейся. Их так не возьмёшь.

— Как возьмёшь?

— На горячем, — сказал Плужин. — Их надо в деле видеть. Как кладут и как оно садится. Я тебе хоть сто раз расскажу, ты сто раз запишешь неверно.

— Так покажите.

— Где?

— В цеху.

Он посмотрел на меня, и мне показалось, что он усмехнулся.

— Меня туда двенадцать лет не пускают, — сказал он. — Я отставной. Мне ход в проходную только по вызову.

— Значит, надо вызов.

— Вызов, — повторил Плужин.

Наверное, я этого ждал. Обрадовался. Пишу — и опять задерживаюсь на этом месте.

Он усмехнулся уже открыто, вытянул из-за пазухи мою

расписку — засаленную, сложенную вчетверо, потёртую на сгибах, — и постучал по ней обрубленным пальцем.

— А я ведь хожу, — сказал Аким Гордеич. — Я по этой бумаге четвёртый раз хожу. Меня в проходной уже по имени зовут.

Я сказал:

— Так это же прекрасно.

Я так и сказал: прекрасно.

Глава 10. Кому не ходить в наряд

Мысль пришла не от благородства, а от арифметики, и я её не украшаю.

К марту у меня был способ на тридцати восьми знаках из сорока одного и не было ни одного человека.

Для следующего расчёта я принял семьдесят семь. Это число вышло после пустоши; считать его доказанной границей безопасности я не мог. Проверять меньшим составом не собирался.

Семьдесят семь человек, которые придут ночью в чужое место, возьмутся за железо и не отпустят четверть часа, что бы ни случилось.

Я перебрал всё, что знал о том, как люди приходят.

За деньги — не приходят на такое; за деньги приходят на работу, где видно, что делают. За идею — приходят, но не семьдесят семь, а трое, и это будут те трое, с которыми хуже всего. За компанию — приходят и уходят.

Приходят за пользой.

В начале марта мне пришло письмо из Крутого Лога.

Письмо добиралось девятнадцать дней. Крупные старательные буквы, нажим не к месту. В углу конверта: «отъ Анны Савельевой».

Нюшке было тринадцать. Она четвёртый год ходила в школу к Вере Николаевне, и это письмо было, я думаю, первым в её жизни.

Корова отелилась. Савелий чинил крышу, упал, но не сильно. Учительница здорова и кланяется. Последние три слова я перечёл, наверное, раз двадцать. Толку никакого: через ребёнка можно передать поклон, даже не кланяясь.

А в самом конце, отдельной строкой, без всякой связи с предыдущим, стояло:

«А Григорей Кулаков про сидячую работу в Крони спрашивал. Ему теперь стоять тяжело».

Я прочёл это и отложил письмо.

Потом взял и прочёл ещё раз.

Ответить я мог бы одной строкой, и строка была бы правдивая: в Крони человеку без грамоты сидячего места не найти. Швейцарская, ночная сторожевая, разбор тряпья — всё занято.

Я не ответил.

Я положил письмо к неотправленному письму Вере Николаевне, в свёрток. Через неделю забыл. Всю неделю высчитывал нужное мне число людей: семьдесят семь. Гриша Кулаков туда никак не попадал.

Он приехал через год и месяц, с Савелием, и стоять ему было по-прежнему тяжело.

Я это знал не из книжек. Я это видел в Крутом Логу: во-

семь мужиков у мельницы нуждались в моей грамоте. Написать бумагу больше некому было. Уважение тут ни при чём. Потом бумага ржавцовского писаря не сработала. Я предупреждал об этом; вот они и вернулись. Моя правота сама по себе их бы не привела.

Значит, надо сперва оказаться полезным, потом оказаться правым, и только потом просить.

Материал у меня лежал под рукой уже полгода, и я его не видел, потому что он был мой заработок.

Я десятый месяц по десять часов в день переписывал чужие прошения.

За это время через мои руки прошло — я потом считал по книге Мятлева — тысяча сто с чем-то дел, и среди них восемьдесят четыре были об изъятиях от наряда.

Восемьдесят четыре человека платили ходатаю по три рубля за то, чтобы им написали бумагу, освобождающую их от стояния у сурикового железа.

Из восьмидесяти четырёх удовлетворили девятнадцать.

Почему из восьмидесяти четырёх прошли девятнадцать? Три вечера ушло на разбор. Выяснилось: отказывали не потому, что не имели права, а потому, что просили не о том или не в тот срок.

Изъятий по закону было семь.

Единственный сын при матери-вдове. Обучающиеся в казённых училищах, покуда обучаются. Служащие в пожарных

частях и при водопроводе — на всё время службы. Имеющие увечье, но не всякое, а поименованное в расписании. Отцы более трёх малолетних. Лица, состоящие в найме на казённых работах — на срок найма. И седьмое, самое сладкое: торговые отлучки из города, записанные в книге. Изъятия они не давали. Зато призыв переносился, и таких переносов допускалось три.

Ни одного из этих семи изъятий не давали по прошению «прошу освободить». Каждое давалось по предъявлении одного определённого документа в один определённый срок.

Нужный документ обычно уже лежал у человека в кармане. Если нет — добывался за пятиалтынный. Секретом оставались сроки. Ходатаи держали их при себе: этим кормились.

Я написал листок в ночь на двенадцатое марта.

Он был в одну восьмую листа и уместился с одной стороны.

Сверху я поставил заголовок, и над заголовком думал дольше, чем над всем прочим.

Мне хотелось написать: «О незаконности наряда». Или: «Кто и как вас считает». Или ещё лучше, у меня был готов оборот, я его вынашивал с зимы: «О том, что убыль ложится на предстоящих».

Я всё это вычеркнул и написал:

«КОМУ НЕ ХОДИТЬ В НАРЯДЪ»

Дальше шло семь пунктов, в каждом три строки: кто, ка-

кую бумагу, куда и до какого числа.

Никакой ругани. Ни одного слова про Право Крови, про Пустых, про несправедливость. Ни одной жалобы. Даже без «наши братья» и «доколе».

Внизу, восьмым пунктом, я приписал:

Ежели откажут — требовать отказа на письме. Устный отказ не отказ и обжалованию не подлежит, потому что его нет.

И — ни подписи, ни имени, ни знака.

Первую свою печать я изготовил пером номер два, при двух свечах. Если работу той ночи вообще считать печатанием.

Двадцать копий за ночь.

Про эту работу мне рассказывать нечего — я её знал наизусть с семнадцати лет, с той ночи в Затонье, когда Ксения ходила босиком, чтобы не разбудить мать. Только тогда я переписывал объявление о повинности за двугривенный, а теперь переписывал своё.

Разница оказалась меньше, чем я ждал.

Рука к третьему часу так же немеет в плече. К пятому так же начинает дёргаться веко. Свеча нагорает, нагар приходится снимать. Одно неловкое движение — клякса. Из двадцати листов остаётся девятнадцать.

Я испортил три листа и переписал двадцать три раза.

К четырём часам кончилась вторая свеча. Я нашёл хозяй-

кин огарок, подставил блюдце; последние копии дописывал уже к семи, когда сквозь иней пробился серый свет.

Буквы к концу плыли.

Я отложил перо, посмотрел на стопку и попробовал прочесть верхний лист с вытянутой руки — так, как читают на стене объявление.

Не прочёл.

Тогда я поднёс к глазам на пол-аршина и прочёл.

Записал у себя: «12 марта — читаю с полуаршина. Осенью читал с аршина». И ниже:

Расход. В смету не внесён. Вносить некуда.

Раздавал я три дня, и раздавал не сам.

Сам я положил четыре штуки: две — под клеёнку крайнего стола у Гущиной в кухмистерской. Одну оставил на подоконнике в сенях ночлежки Мокеева. Последнюю сунул за образок в углу трактира у Смоленского, в двух шагах от Малой Жилы. Обычное место для таких бумажек.

Ещё восемь я отдал разносчику Сеньке, четырнадцатилетнему, за пятиалтынный, велев разложить в банях по полкам.

Ещё восемь я не раздал вовсе.

Поберёг запас, оставил их у себя. Пожалуй, за всю неделю это было самое разумное решение. Пять дней спустя за ними пришли.

Пришли в кухмистерскую, во вторник, в обед.

От двери ко мне через весь подвал шёл человек, и я его не узнал.

Я видел, что идёт мужчина, что он в жилетке, что он смотрит на меня и, стало быть, идёт ко мне. Лица не было. Вместо лица — светлое пятно. Я смотрел туда с вежливым видом. Две улыбки были наготове: знакомому и чужому. Спину приготовил — вдруг придётся встать.

Он сел напротив, и с четырёх аршин лицо собралось.

Хрулёв.

Прошлым июнем мы отстояли рядом четыре часа у сурикового железа. Потом ещё дважды встретились на улице. В лицо я его знал.

Это заняло, я думаю, секунды три, и он ничего не заметил, потому что заметить тут нечего: человек в подвале при двух окнах под потолком щурится на входящего — обыкновенное дело.

Я в тот вечер приписал к своей записи о полуаршине ещё строчку и подчеркнул её дважды: *„Узнаю с четырёх аршин. Осенью — с восьми“.*

Внизу сделал приписку. Уже понимал, куда всё идёт. Хотел успеть записать собственной рукой, пока это ещё можно было остановить:

Через год я не узнаю в лицо тех, кого сам соберу.

Он подождал. Потом спросил:

— Ты бумагу писал?

Я, помню, положил ложку.

За полсекунды у меня в голове прошло всё: части, Тычков, восемь дней, «в городе с бумагами строже». Я даже успел выбрать, что скажу.

— Какую бумагу?

— Такую, — сказал Хрулёв. — Про наряд.

— С чего ты взял, что я?

— Да ни с чего, — сказал он спокойно. — Тут кроме тебя грамотных нету, а ты по письменной части. Слушай, а вот шестой пункт — это про какие такие казённые работы?

И достал из-за пазухи мой листок.

Грязный лист, сложенный вчетверо. Сгибы потёрлись: его, видно, разворачивали и складывали раз двадцать.

Мы просидели над ним час.

Хрулёв был извозчик при водовозном обозе, и обоз этот с прошлого апреля возил воду в городскую больницу по контракту с управой.

Прочёл вслух шестой пункт. Объяснил: управа наняла его на казённые работы. Значит, изъятие действует до конца найма — до апреля.

— Так мне сказали — не полагается.

— Кто сказал?

— В части сказали. Я спрашивал.

— Устно сказали?

— Ну.

— Восьмой пункт, — сказал я.

Он посмотрел в листок, шевеля губами, дочитал до конца и поднял глаза.

Потом я тысячи раз встречал такое лицо: на сходках, в Вальбурге, в восемнадцатом году. Всегда одно выражение: человек читает четыре строки, которые ему по закону полагалось знать с рождения, и у него делается такое лицо, будто ему показали фокус.

— Так это что же, — сказал Хрулёв. — Я их могу заставить написать?

— Можете.

— И тогда что?

— Тогда прежде подумают три раза, — сказал я. — За отказ на бумаге отвечать придётся. Устный ничего не стоит.

Он ушёл, а через день пришёл опять и привёл двоих.

Через неделю в кухмистерской Гущиной меня ждали четверо, и Гущина уже косилась, потому что они брали на всех одни щи.

Через две недели ко мне подошёл на улице человек, которого я никогда не видел, и попросил «ту бумагу, где семь пунктов», и сказал, что ему говорили, будто её дают у Гущиной.

Восемь оставшихся копий разошлись за три дня.

Нужны были новые листы. За следующую ночь я написал двадцать. Сгорели две свечи, два листа ушло в брак.

А на другой день, в среду, в кухмистерскую пришли один-

надцать человек.

Я сидел, смотрел на этих одиннадцать и в первый раз считал не то, что считал всегда.

Раньше я считал, сколько мне нужно и сколько у меня есть.

Теперь получалось так: одна ночь — двадцать копий, свечи, бумага, полтора вершка зрения. Одиннадцать человек за неделю с четырёх подложенных листков. Я справлялся в управе. В наряде по Крони — сорок одна тысяча человек. Цифра есть в печатном отчёте.

Сорок одна тысяча, делённая на двадцать за ночь, есть две тысячи ночей.

Перо должно работать пять с половиной лет без перерыва. Всё это время мне нельзя спать, есть, зарабатывать. И слепнуть тоже нельзя.

А слепнуть я, между прочим, начал с той стороны, откуда свеча.

Над остывшими щами я тихонько засмеялся. Ещё подумают чего. Впервые за вторую жизнь меня остановило собственное перо. Закон, усмотрение, Тычков, Право Крови тут были ни при чём.

Я упёрся в скорость руки.

В тот вечер я впервые за год поместил все свои счета на одном листе. Прежде сводил отдельными кусками. Каждый

кусок позволял жить дальше.

Пришло за десять месяцев: у Мятлева, по три копейки с листа, при среднем одиннадцати листах в день и двухстах шестидесяти рабочих днях, — восемьдесят пять рублей восемьдесят копеек.

Ушло: угол — двадцать; харчи — сорок с полтиной; свечи, дрова, баня, починка сапог дважды — одиннадцать двадцать; отчёты по кассам, справки, конка, двугривенные пятнадцати старикам, чай невестке Плужина — десять восемьдесят; три рубля Аркадию Петровичу и два пропавшего задатка хозяйке. Всего восемьдесят семь рублей пятьдесят копеек. К заработанным я прибавил привезённые шесть сорок.

Осталось — четыре рубля семьдесят копеек.

Привёз я шесть сорок.

Десять месяцев я работал по десять часов в день. В лучшие дни выдавал четырнадцать листов. Мятлев сравнивал мой почерк с межевым корпусом. Итог этой красоты: на рубль семьдесят беднее.

Станок с торгов, по описи, за долги, если брать плиту, раму и винт, — двадцать восемь. Шрифт на вес — от восьмидесяти за пуд, а пуда мало. Бумага, краска, олифа, угол под станок — сколько дадут, столько и возьмут.

Сто пятьдесят рублей, если считать по-нищенски.

Сравнил эту цифру с четырьмя рублями семьюдесятью. Малый заработок уже ничего не объяснял.

Дело в том, что я продаю то же самое, что и все: часы своей

жизни, по три копейки за лист.

Из этого расчёта не выходило ни одного честного способа достать сто пятьдесят рублей, и я это увидел в тот вечер ясно, как видят число.

Вещи Петра лежали у матери в сундуке четвёртый год.

А на другой день я пошёл к Степану Ильичу.

К марту он жил подённой работой у переплётчика. Дважды почти собрался в Тверь. Оба раза остался. Я знал о каждой попытке и молчал.

В его комнате поговорить было негде. Вышли к воде, уселись на тумбы набережной. Я сказал:

— Степан Ильич. Вы говорили — придите, когда поем.

— Говорил.

— Вы поели?

Он посмотрел на воду. На реке уже чернели промоины, по воде шла рябь, и от неё пахло не рекой, а тем, чем в Крони пахнет вода у стенки: маслом, дёгтем и немного гнилью.

— Илья Никитич, — сказал он. — Я вам сейчас скажу, и вы не сердитесь. Я к вам присматривался. Вы человек не злой и, я думаю, честный.

— Но?

— Но вы всё считаете, — сказал Степан. — Я за вами десятый месяц смотрю. Вы и людей считаете. Я не в укор: считать надо, без счёта дела нет. Только вы бы себе где-нибудь записали, что нас нельзя сложить.

Я тогда ответил ему что-то бойкое.
Не помню что.

Глава 11. Чужая рука

Решение было очевидное, и я его принял за один вечер, и оно было неправильное.

Если одна рука делает двадцать копий за ночь, то четыре руки делают восемьдесят.

Я даже посчитал, во что это станет. Писарь на Сенном берёт полторы копейки со списанного листа, если работа простая и без спешки. Двадцать копий — тридцать копеек. Четыре человека по двадцать — рубль двадцать за ночь.

Рубль двадцать я зарабатывал у Мятлева за три с половиной дня.

За три с половиной дня вместо двадцати копий выходит восемьдесят. На Кронь понадобится полтора года. Прежние пять с половиной были приговором. Полтора — срок, который можно вытерпеть.

Я и сейчас, перечитывая эту выкладку, не вижу в ней арифметической ошибки.

Ошибка в ней не арифметическая.

Нанял я троих.

Первого — Пахома Ильича Гниденко, писца лет шестидесяти, сидевшего при Сенном на углу с раскладным столиком и чернильницей на цепочке. Он писал прошения неграмот-

ным по пятаку и брался за всё.

Второго — Кузьму, конторщика из мучного лабаза, молодого, с прекрасным круглым почерком, который подрабатывал по вечерам, потому что копил на свадьбу.

Третьего — семинариста Вельяминова, восемнадцати лет, тощего, в подряснике не по росту. Его мне сосватал Митя Овсянников письмом из Ольхова: «есть у меня двоюродный, учится в Крони, парень честный и голодный, приласкай».

Я собрал их порознь, в разных местах, в три разных дня, и каждому сказал одно и то же.

Работа — переписка. Двадцать листов, срок трое суток, полторы копейки с листа сверх обычного, то есть по три, потому что дело не вполне обыкновенное. Бумага моя. Образец мой. Переписывать слово в слово, буква в букву, ничего не прибавляя и не убавляя.

Никто из троих не спросил, зачем.

Гниденко взял образец, посмотрел, пожевал губами и сказал: «Дело хорошее». Кузьма сказал: «А это законно?» Я подтвердил: всё до последней строки. Он кивнул. Больше к вопросу не возвращался. Вельяминов покраснел, взял деньги вперёд и сказал, что рад послужить.

Я вышел от третьего и шёл домой очень довольный собой.

Я помню это довольство точно, потому что записал его в тот же вечер и потом двадцать лет натыкался на эту запись:

Собрал четыре руки вместо одной. Считал, что это трудно. Оказалось, дело трёх дней и двух рублей.

Через трое суток я получил шестьдесят копий.

Точнее: пятьдесят восемь. Гниденко сделал восемнадцать и сказал, что два листа испортил и что за них не берёт.

Я сел разбирать их у себя, за занавеской, разложив по трём стопкам, и разбирал часа четыре.

Начну с Кузьмы, потому что с ним всё было прекрасно.

Двадцать листов, круглый конторский почерк, ни одной кляксы, поля ровные. Он переписал буква в букву, как я велел. Он даже воспроизвёл мою описку в третьем пункте — «пожарныхъ частяхъ и водопроводе» без твёрдого знака, — потому что переписывал не думая.

Он был идеальный работник, и с ним вышла только одна беда, о которой ниже.

Дальше Гниденко.

Восемнадцать листов, почерк прекрасный, старинный, с росчерками. И все восемнадцать листов он улучшил.

Он не выдержал.

Шестьдесят лет он составлял прошения для неграмотных. Рука помнила свой слог. Чужие обороты ей не давались. Моё «требовать отказа на письме» превратилось в покорнейшую просьбу: «об изложении отказа на письме». Там, где у меня «до пятнадцатого числа», — «в надлежащий срок».

Я держал этот лист и понимал, что он мне сделал.

Мой листок был устроен как отмычка: семь пунктов, в каждом — что подать, куда и до какого числа. Всё, что не

число и не название бумаги, я вычистил, и вычищал я его четыре вечера.

«В надлежащий срок» — это не ошибка переписчика. Это возвращённый в бумагу туман, ради изгнания которого всё и затевалось. Человек с таким листком придёт в часть, спросит про надлежащий срок, ему скажут, что срок вышел, и он уйдёт.

А в восьмом пункте Пахом Ильич приписал от себя, круглым красивым почерком, четыре слова, которых у меня не было: «а также умолять о снисхождении».

Он не вредил. Он всю жизнь так писал и был уверен, что делает лучше.

Семинарист сделал двадцать листов и не изменил ни буквы.

С ним вышло хуже всего.

Работу принёс вечером. Стопку положил, а сам остался переминаться рядом. Сказать что-то хотел.

— Илья Никитич.

— Да.

— Я тут подумал, — сказал Вельяминов, — что это ведь неполно.

— Что неполно?

— Ваша бумага, — сказал он, и глаза у него горели. — Вы пишете, как выйти из наряда семи разрядам людей. А остальные? Их же тысячи. Им что?

Я молчал.

— Я вам скажу, что тут нужно. — Он был прекрасен в своей уверенности. Ничем её обосновать не мог. В восемнадцать лет это ещё возможно; позднее уже нет. — Тут нужно в конце прибавить. Немного. Три строки. Что наряд сам по себе противен и человеческому естеству, и Писанию, потому что…

— Вы прибавили?

— Нет, — сказал он поспешно. — Вы же велели буква в букву. Я не прибавил.

И, помолчав, добавил:

— Я товарищам показал.

Дальше был разговор, из которого я вышел с четырьмя седыми волосами и одним правилом на всю жизнь.

Он показал листок пятерым в семинарии. Двое переписали себе. Один сказал, что видел такую же в бане у Смоленского. На вопрос об авторе Вельяминов ответил честно: не знаю. Нанимая его, я назвался Ильёй Никитичем. Фамилии он от меня не слышал.

Пятому, знакомому по бане, бумага показалась хорошей. Только робкой. Он хотел «настоящую».

— И он собирается писать настоящую? — спросил я.

— Он говорит — надо, — сказал Вельяминов.

Голодный честный мальчик. Подрясник не по росту. Я смотрел на него и видел другой коридор, года через полтора:

двое жандармов, он. Рядом я.

— Николай Аркадьевич, — сказал я. — Работа кончена, вот вам деньги. Больше я вас звать не буду.

Он страшно обиделся.

Я не стал объяснять — да и не мог: любое объяснение было бы длиннее и опаснее, чем отказ. Два месяца спустя до меня дошёл слух: он посещает кружок какого-то студента-технолога. Впервые в Крони мне стало по-настоящему страшно: не за себя, а от мысли, сколько таких Вельяминовых по городу и как быстро они находят друг друга.

С Кузьмой же вышло вот что.

Через неделю он попросил ещё работы. Ещё через неделю — ещё. А на третий раз сказал, посмеиваясь и глядя в сторону:

— Илья Никитич, а вы бы мне по четыре копейки клали. А то ведь я всё вижу.

Он ничего не видел. Ему нечего было видеть: бумага была законная, и любой пристав, прочтя её, не нашёл бы в ней ни одного слова к делу.

На третьем заказе переписчик уже понимает цену листка. Кому-то нужны новые копии. Значит, можно запросить больше.

Я поднял ему до четырёх и через месяц ушёл от него совсем.

Итог я подвёл в апреле, на одном листе, и лист этот храню

до сих пор.

Четыре руки вместо одной дали не восемьдесят копий за ночь, а пятьдесят восемь за трое суток, и из них годными к раздаче я счёл сорок, а восемнадцать — сжёг в печке у Марфы Егоровны, объяснив ей, что это черновики.

Первая партия вместе с бумагой стоила два рубля двадцать четыре копейки — то есть половину всего, что у меня оставалось.

О размножении бумаги про наряд теперь знали трое посторонних. Один успел показать её пятерым. Другой торговался.

И вот тут я, наконец, сформулировал то, ради чего, собственно, и стоило потерять эти два рубля.

Переписчик — плохая машина не потому, что он медленный.

Переписчик — плохая машина потому, что он читает.

Он читает то, что переписывает, и от этого с ним делается одно из трёх: либо он поправляет по-своему, как Гниденко, и портит, желая улучшить; либо он воодушевляется, как Вельяминов, и идёт рассказывать; либо он соображает, как Кузьма, и повышает цену. Четвёртого исхода нет. Святость переписчика ничего бы не изменила. Само дело устроено так: у человека, водящего пером по чужим словам, эти слова проходят через голову, и голова с ними что-нибудь делает.

Мне нужен был работник, который не понимает, что де-

лает.

Который повторит хоть тысячу раз и ни разу не улучшит, не воодушевится и не запросит прибавки.

Такого работника зовут станком. С апреля я перестал прикидывать покупку вещи. Я искал себе сотрудника — единственного доступного мне честного сотрудника.

Степану Ильичу я рассказал про Гниденко и «в надлежащий срок». Остальное оставил при себе. Он выслушал. Молчание затянулось.

Потом сказал:

— Наборщик тоже читает.

— Что?

— Наборщик читает, — повторил он. — Он буквы из кассы берёт, а слова у него сами складываются. Я двадцать шесть лет набирал и всё прочёл, что набрал, до последней строчки, хотя и не хотел.

Я сказал:

— Но вы же не поправляли.

— Не поправлял, — согласился Степан. — Меня били за это в первый год, вот и не поправляю. — Он посмотрел на меня. — Я к тому, Илья Никитич, что машины у вас не выйдет. Вам всё одно людей набирать.

— Наберу.

Степан повернул чашку ручкой к себе. Чай кончился; он поднял крышку чайника, посмотрел и закрыл.

Я стал расспрашивать о торгах. Степан отвечал, не выпуская ручки чашки.

Глава 12. Разнарядка

В апреле он не открыл дверь в субботу.

То есть открыла невестка и сказала, что дедушка на заводе.

— В субботу?

— В субботу, — сказала она. — Второй раз уж. Ходит.

Спросил, по какому делу. Она не знала: дедушка ей не докладывает. Только рубаху сегодня надел чистую. Сапоги ещё с вечера вычистил.

Я подождал часа полтора на скамейке у забора, потому что идти было некуда, а дождь шёл мелкий.

Он пришёл в четвёртом часу, снизу, от конки, и шёл медленно.

— Ты чего тут?

— Суббота, Аким Гордеич.

— А, — сказал он. — Ну да.

Мы вошли, он сел, не сняв полушубка, и минуты две сидел так, глядя в стол. Потом снял.

И только тут, при лампе, я увидел, что он серый.

Серый. Так сереют старики, долго проходившие по сырости. Я принял это превосходное объяснение сразу, едва оно пришло в голову.

Дальше он мне всё рассказал сам, охотно, с удовольствием, потому что был горд.

Их, отставных, вызвали в контору по спискам — тех, кто числится в делах о пенсионном производстве. Таких набралось одиннадцать человек.

Объявили циркуляр от такого-то числа: нижних разрядов не хватает. Переписку с заводом по имущественным и пенсионным делам признали основанием числиться при заводе. Внутренняя разнарядка для этих людей теперь общая.

— Это как? — сказал я.

— Наряд, — сказал Плужин. — В наряд нас поставили. Заводской.

Я сидел и не понимал.

Я слышал «списки», «циркуляр», «приравниваются» и искал, в чём подвох и как обжаловать.

— Вас — в наряд? В шестьдесят пять лет?

— По циркуляру берут не старше шестидесяти пяти.

— Аким Гордеич, но вы же не служите.

— А я и говорю — не служу, — сказал он. — А мне говорят: ты в переписке. Раз в переписке — значит, при заводе. — Он усмехнулся. — Оно, знаешь, и справедливо выходит. Двенадцать лет меня не считали ни за кого, а теперь сочли.

В переписке он был по моему прошению.

Я достал копию расписки. Она лежала в одном свёртке с четырьмя страницами после моего городского вывода —

с числами, минутами и словами об убыли на предстоящих. Плужин ждал, пока я найду номер.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.